


**НИНА  
ПУШКОВА**

**БЕСТСЕЛЛЕР**

**PS**

A photograph of Nina Pushkova and a man on a red carpet. Nina Pushkova is on the left, wearing a white fur coat, looking towards the camera with a slight smile. The man is on the right, wearing a dark suit and a patterned tie, smiling and waving his right hand. The background is blurred, showing other people and a red carpet.

**БУНИНСКАЯ  
ПРЕМИЯ  
«ЗА ИСКРЕННЕЕ  
СЛОВО  
В ОБМАННЫЕ  
ВРЕМЕНА»**

**РОМАН**  
**с ПОСТ-  
СКРИПТУМОМ**

Нина Пушкова  
**Роман с Постскриптомом**

ИД "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ"

2021

УДК 82-311.2(02.055.2)

ББК 84

**Пушкова Н. В.**

Роман с Постскриптумом / Н. В. Пушкова — ИД "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ", 2021

ISBN 978-5-6046511-7-9

Студенткой Щукинского театрального она мечтала о карьере актрисы. Но когда случилась в жизни Любовь, оставила съемки в кино и не пошла на театральную сцену, пожертвовав манящей аурой артистического мира. Любимым и единственным мужем стал Алексей Пушков – теперь известный телеведущий популярной программы «Постскриптум», а тогда – студент МГИМО. В увлекательном романе о своей жизни Нина Пушкова предельно и интригующе откровенна. Судьба была богата на встречи со многими знаменитыми и просто интересными людьми, но главным остались поле семьи, союз по любви, который длится уже более трех десятилетий...

УДК 82-311.2(02.055.2)

ББК 84

ISBN 978-5-6046511-7-9

© Пушкова Н. В., 2021

© ИД "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ", 2021

## Содержание

Испытание водой	6
Улица любви	9
Судьбоносные 45 секунд	13
Как из мальчика сделать мужчину	16
Дорога в «Щуку»	20
Захава и курящие лани	24
Храм и храмовники	27
Царь на миг	40
«Ночь над Чили»	46
Генерал Хлудов и персиянка	61
Конец ознакомительного фрагмента.	63

## Нина Пушкина Роман с Постскриптомом



Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!  
Удивительно вкусно, искристо и остро!  
Весь я в чем-то норвежском!  
Весь я в чем-то испанском!.. –

процитировала я запретного тогда Северянина своим школьным подругам, учившим стихи о советском паспорте. «Артистка!» – восторженно прошептали подружки. А я под строки поэта поэтов вылила в красивую хрустальную вазочку для цветов полбанки компота с ананасами, дополнила все это оставшимся со дня рождения шампанским и выпила в твердой уверенности, что точно поступлю в Щукинское училище.

## Испытание водой

Я пережила клиническую смерть в восемнадцать с половиной лет. Это было в конце мая. Весна в тот год была бурной, теплой настолько, что было жарко, как летом.

Меня измотала зачетная сессия, а ведь предстояли еще экзамены. Я ненавидела химию, биологию, анатомию головы и шеи с ее бесчисленными мышцами, которые к тому же надо было запоминать на латыни. Единственное латинское название, которое все студенты с легкостью запоминали, – это *musculus gluteus maximus* (большая ягодичная мышца). В остальном же аминокислоты, эмбрионы, нуклеотиды, мочеполовая система и железы внутренней секреции – все это было настоящим кошмаром и наваждением моей учебы в медицинском.

Я поступила туда под давлением мамы-врача. Она настояла на том, чтобы сначала я «получила образование». А уж потом, «если не передумаешь, поступай в театральный». «Зато у тебя всегда будет хлеб с маслом и икрой», – добавляла она весомый аргумент.

Ну я и поступила. Не ради бутерброда, конечно, а больше для того, чтобы она не расстраивалась.

И вот конец мая. Мы с мамой на выходные выехали за город, в санаторий. В пяти минутах ходьбы от главного корпуса была речушка, неглубокая и теплая. Плавать я тогда не умела, но обожала нырять. Речка мелкая – не утонешь, течение несильное. Зато какое удовольствие! Нырнешь, вытянешься в струнку, руки впереди лодочкой сложишь – и несет тебя вода, пока воздуха хватает. Затем можно встать на ноги, отдышаться и опять – нырок, и поплыли – этакой большой рыбой.

И вот в одно из таких погружений, когда надо было всплывать, я вдруг почувствовала, что подо мной нет дна... Нет его, такого песчаного, мягкого, знакомого. Меня снесло в яму. И все, что до этого казалось таким милым и благостным, внезапно исчезло. Не хватало воздуха, течение усиливалось, я не понимала, что делать... И – паника, меня охватила паника.

Я вытянулась до хруста в позвонках и попыталась нащупать дно. Еще секунда – и мне показалось, что кончиками пальцев я его коснулась. Оттолкнувшись что было силы, я выбросила тело вверх и за толщей воды увидела свет, дневной свет. Но выплыть на поверхность мне не удалось. Над водой показались только мои волосы – темные, длинные, густые (потом мне сказали, что это и спасло меня). Но это было потом. А в тот момент я билась в отчаянных конвульсиях, воздуха не хватало, я попыталась крикнуть, но кругом была вода, одна только вода – и черно-серый мрак.

На меня внезапно навалилось ощущение смерти, близкой и банальной конечности жизни. Люди, пережившие клиническую смерть, часто рассказывают о темном туннеле, по которому они движутся к свету. Я в туннеле не оказалась. Я видела лишь полный мрак, который изредка был расцвечен красными роящимися искрами. И в этой черноте всполохами возникали обрывки прошлого, которое только что было счастливым настоящим. Нет, это были даже не воспоминания. Скорее всего, какие-то хвосты, обрывки от чего-то целого, бывшей жизни, которые проносились в сознании, как трассирующие пули.

Так мне это вспоминается сейчас. А тогда я, не понимая ничего, не знала, это еще жизнь или уже смерть. И вдруг посреди этого ужаса словно какой-то просвет... и меня будто бы просят рассказать о моей жизни. Именно так! И я, не желая возвращаться туда, под воду, где страшно и темно, начинаю говорить. А чтобы меня не вернули в удушающий темный мрак, я вдруг начинаю свою жизнь приукрашивать. И последней моей мыслью было: «Боже, зачем же я привираю? Ведь они все обо мне знают!»

В этот миг мое сердце вновь начало биться. Смерть отвернулась от меня.

Меня спасло то, что это был санаторий, ведомственный, он так и назывался – «Медработник». Когда я стала тонуть, на берегу рядом с мамой были наши соседи по столу – врач

и его сын, будущий врач, старшекурсник. Но если бы не волосы, всплывшие на поверхность воды, обнаружить меня не смогли бы.

Да, меня спасли мои волосы и два грамотных врача. Мама была не в счет: ей самой тогда нужна была помощь.

Когда я сделала первый самостоятельный вдох, первая земная мысль была: «Какой же здесь грязный воздух!» А ведь «здесь» – это за городом, в зеленом хрустальном краю. Но «там», откуда я вернулась, и где не было воздуха, – воздух казался чище...

Врач Владимир Иванович в тот момент возбужденно втолковывал маме: «Ты это видела? Нет, ты понимаешь, что произошло? Ведь никто не поверит! У нее шесть минут не было пульса, не было сердцебиения, зрачки не реагировали на свет... Ты понимаешь, что мы вытащили ее из клинической смерти!»

Я слышала, что он ей что-то объяснял, много раз повторяя про гипотермию, но не понимала, что это все про меня.

Я понимала только, что буду жить дальше. Причем я точно знала, как буду жить. Пройдя через испытание водой, я вдруг обрела в себе новые качества.



Я не утонула...



...зато узнала свою судьбу

Во-первых, я стала патологически, послойно ощущать запахи. В течение долгого времени всюду, куда бы ни пришла, распахивала окна. «Закупорено! Как здесь все закупорено!» – твердила я везде и всем и в любую погоду распахивала окна. Это было сущим наказанием для меня (слышать все запахи деятельности человечества) и таким же наказанием для других (вымерзание). Но, слава богу, чувствовала я не только соли тяжелых металлов, но и грибницу, и аромат спрятанных ландышей, и землю, просыпающуюся от снежной зимы.

И во-вторых, и это самое главное, теперь я точно знала, что заберу документы из медицинского, уеду в Москву, поступлю в театральный. А мужа моего будут звать Алешей. Там, в ином мире, я почему-то несколько раз слышала это мужское имя.

## Улица любви

Тот апрель был такой теплый, каких потом не было десятилетия. У меня в апреле день рождения, и поэтому я все мои апрели помню, каждый раз испытывая бурление и томление чувств. А в тот апрель было еще и тайное знание, что весна обязательно приведет за руку судьбу. Так оно и случилось.

Моя судьба застала меня в театре. В тот вечер в Театре сатиры шел спектакль «Обыкновенное чудо». В то время билеты в популярные театры достать было очень и очень непросто. Их добывали через профкомы-месткомы, через знакомых и связи, а те, у кого таких путей не находилось, переплачивали спекулянтам.

Я училась на втором курсе Щукинского училища, готовилась к работе в Театре сатиры. Я наизусть знала весь репертуар, но не упускала случая еще раз пересмотреть постановки. Выбор театра был predetermined: в одного из наших педагогов, Александра Анатольевича Ширвиндта, были влюблены все девушки с нашего курса и еще пол-Москвы. И я не избежала этой участи. Ко всему прочему, мне казалось, что Татьяна Ицыкович, играющая роль принцессы в спектакле «Обыкновенное чудо», категорически не подходит для этой роли. А себя я считала естественной ей заменой. Я довольно часто ходила в этот театр по студенческому билету, а значит, без места. Запоминала мизансцены, текст – одним словом, готовилась к вводу в спектакль. И всегда нахально усаживалась в первых рядах, и никто ни разу не попросил меня освободить незаконно захваченное пространство.

Так было и в тот вечер. За несколько секунд до того, как был погашен свет, я опустилась в давно примеченное свободное кресло в пятом ряду. Моими соседями справа оказались два молодых человека, которые одновременно на меня уставились.

– Смотрите лучше на сцену, – строго сказала я им.

Но они принялись живо перешептываться. Я чувствовала себя в этом зале абсолютно своей. И когда я повернулась к соседям, чтобы призвать их к тишине, то увидела, что один из них улыбается мне. Это был молодой человек с большими губами и крупными зубами.

В антракте я быстро покинула зал, чтобы соседи не рассчитывали на знакомство. Все второе действие я слышала, как справа от меня продолжают что-то тихо обсуждать. Я чувствовала, что разговор идет обо мне, и знала, что после спектакля со мной будут пытаться познакомиться. Скажу «нет», твердо решила я. И уже в фойе, когда услышала за спиной: «Девушка, можно вас проводить?» – мое готовое «нет» слетело с губ раньше, чем я успела повернуться.

– Нет! – повторила я, уже глядя в молодое улыбающееся лицо.

«Я не встречаюсь с мальчишками. Мне это неинтересно», – хотелось сказать мне. Но что-то в этом лице заставило меня объяснить:

– Я студентка театрального института, и я влюблена... во взрослого человека... – как можно более красноречиво и многозначительно (как мне казалось) произнесла я.

Но мой визави как будто этого не услышал.

– Меня это не интересует, – спокойно ответил он. – А когда вас можно будет увидеть?



Второй курс Шукинского училища. Мне казалось, что роль принцессы мне подходит гораздо больше, чем Татьяне Ицкович



Сцена из спектакля «Обыкновенное чудо». Михаил Державин и Татьяна Ицкивич (она же Васильева)

По моим представлениям, он должен был отойти со словами типа «извините», «понимаю». Но поскольку этого не случилось, я еще несколько секунд думала, что же ему сказать – категоричное и в то же время простое. В этот момент я смотрела в пол и тут увидела на ногах этого молодого человека ботинки, точь-в-точь какие носил мой кумир. На нем были шикарные, тончайшие, не запыленные замшевые ботинки – ботинки Ширвиндта! Да и вообще весь облик этого оказавшегося довольно высоким молодого человека был каким-то «несоветским».

Я сказала:

– Знаете, молодой человек, я учусь в Щукинском училище, и у меня завтра будет окно, короткое окно между репетициями. Вы можете подойти в час дня к улице Вахтангова, 12а, там наше училище. И я выйду.

Все утро я помнила, что у меня свидание. Ну, не свидание, а так скажем – продолжение знакомства. И все же не очень красивое (как я считала) лицо незнакомца не выходило у меня из головы.

В час дня я как была в длинной репетиционной юбке в пол, так и вышла на широкое вытянутое крыльцо Щукинское. Я шла по нему, как по сцене. Весенний ветер разведал волосы и широкую цыганскую юбку. «Народная артистка нисходит до поклонника» – картина маслом. Но у «поклонника» ни в руках, ни за спиной почему-то не оказалось цветов. Я попыталась скрыть свое разочарование и поэтому окликнула первой:

– Молодой человек, подойдите ко мне.

Он улыбнулся:

– Действительно, мы ведь не познакомились в театре. Меня зовут Алексей.

Я замерла.

Я с детства, с шести лет была влюблена в мужское имя Алеша. В то время вышел фильм Чухрая-отца «Баллада о солдате». И главную роль Алеши Скворцова исполнял красавец Владимир Ивашов, впоследствии муж Светланы Светличной, который позже сыграл роль Печорина.

И вот эта детская влюбленность в ласковое имя Алеша вылилась в детскую клятву: когда вырасту – мужем моим обязательно станет Алеша. Но надо же, ни разу в моей жизни не появился ни один Алеша. И тут вдруг на тебе! Этот – не очень красивый, без цветов – и вдруг Алеша!

Мы отправились пить кофе в «Чародейку» и не заметили, как быстро пролетело время. И мне, и ему надо было возвращаться на занятия. Мы договорились встретиться этим же вечером у памятника Гоголю в девятнадцать часов.

## Судьбоносные 45 секунд

Как назло, этим вечером у меня была куча дел. Мне надо было съездить на «Мосфильм» отвезти фотографии. Я наконец-то встала там на актерский учет.

Одним словом, я катастрофически опаздывала на свидание, на которое мне очень хотелось прийти вовремя! Я протискивалась через идущих мне навстречу по Старому Арбату людей. Выскакивала едущим мне навстречу машинам и троллейбусам. Арбат тогда был не пешеходной зоной, а довольно оживленной двусторонней улицей.

Стрелки показывали без четверти восемь, когда я наконец подошла к памятнику Гоголя.

Алексей, в длинном бежевом плаще, на этот раз с цветами в руках, стоял ко мне спиной и смотрел на часы. Я подошла не с той стороны, с которой он меня ждал. И я видела его, почти готового уйти.

Как он потом мне рассказывал, он дал себе слово уйти, как только стрелка на больших круглых городских часах дойдет до без пятнадцати восемь. Я подбежала к нему именно в эти последние секунды.

– Я собирался уходить, – честно сказал он.

– Извини, я опоздала, но не хотела опаздывать, – тоже честно призналась я.

– Ты мне задолжала поцелуй.

– Может быть, когда-нибудь я долг отдам.

Я уже кокетничала и понимала, что он не обижается.

– Ты знаешь, у нас в училище скоро будет показ. Французский вечер. Я тебя приглашу. Я буду читать монолог Сабины из трагедии Корнеля «Гораций». «Je suis romaine, hélas, puisque Horace est romain, J'en ai reçu ce titre En recevant sa main»<sup>1</sup>. «Но мне б супружество жестоким рабством было, когда бы в Риме я о родине забыла», – продолжила я на русском языке.

– А что ты еще знаешь по-французски? – улыбаясь, спросил меня Алеша.

– Ну, вот тебе попроще:

Adele est malade.

Sa mere est la,

Elle est triste,

Elle aime Adele.

В переводе этот детский стишок звучит так: «Адель больна, ее мама рядом, она печальна, она любит Адель». И возможно, этот стишок был бы простым, если бы его не декламировала я – студентка театрального вуза. Я читала торжественно и печально. И у меня получалось так, что Адель больна смертельно. И ее мама печальна оттого, что она знает, что ее дочь при смерти. И она любит ее всем своим скорбящим сердцем.

---

<sup>1</sup> Гораций – римлянин. Увы, обычай прав. Я стала римлянкой, его женою став (франц.).



Таллин. Старый город. 1973 год. Он еще не догадывался, а я уже знала, что вскоре он будет моим мужем



Свою судьбу я встретила в театре. А где же еще?

Впрочем, слушая меня, мой будущий муж лишь забавлялся. Ему не было ни грустно, ни печально, и его совсем не завораживал мой французский!

– Ну ладно, – сказал он весело. – Я тебе тоже почитаю французские стихи и свои переводы.

И он начал с Поля Элюара.

Я мгновенно поняла, что его французский – это не наш французский. Так ученик музыкальной школы моментально распознает игру профессионала. Так восхищенно замирают мальчишки, если с ними на футбольном поле вдруг на минутку окажется мастер.

Я влюбилась сразу – во все, но главное в то, что он был не такой, как все молодые люди вокруг меня. И моей главной задачей стало не показать, скрыть свою моментальную влюбленность.

Но мне был брошен вызов. На его безупречный французский, привезенный из Парижа, где он почти шесть лет прожил с родителями, я решила ответить песней.

– Да, мой французский хуже, – сказала я. – Но, во-первых, я не претендую на то, чтобы быть музыкой. Да и ты не платил деньги, чтобы сидеть в первом ряду. Давай я тебе спою древнерусскую свадебную песню.

Моя песня впечатлила его так же, как меня его французский. В ту первую встречу, когда мы уже, казалось, переговорили обо всем – от театра до стихов Поля Элюара, перед тем как расстаться, я неожиданно для себя сказала:

– Алеша... вы, к сожалению, будете моим мужем...

– Ты что, с ума сошла? – было мне, романтической девушке, ответом.

– А почему сразу так фамильярно и на «ты»? – вспыхнула я.

– А ты не сразу? А почему, собственно, к сожалению?

– Потому что вы совсем не красивый. Я думала, что муж у меня будет красавец, – злила я его уже нарочно.

Но он не злился. И вся эта бессмысленная пикировка, казалось, доставляла нам обоим удовольствие.

Браки действительно совершаются на небесах. И тем теплым апрельским вечером, за несколько дней до моего двадцатилетия, видимо, где-то высоко на небесах свершился и наш союз. Хотя на земле до нашей свадьбы было еще два с половиной непростых года. Был сказочный осенний Таллин, где в старом городе мы как-то случайно вышли на нее – нашу улицу, улицу любви... Были летние поездки в Юрмалу, с ее запахами моря, и сосен, и хвои после дождя... Были ссоры и расставания – расставания навсегда, и наполненные пустотой месяцы одиночества, а потом – такие же, навсегда, навеки воссоединения – на нашей и только нашей Улице Любви.

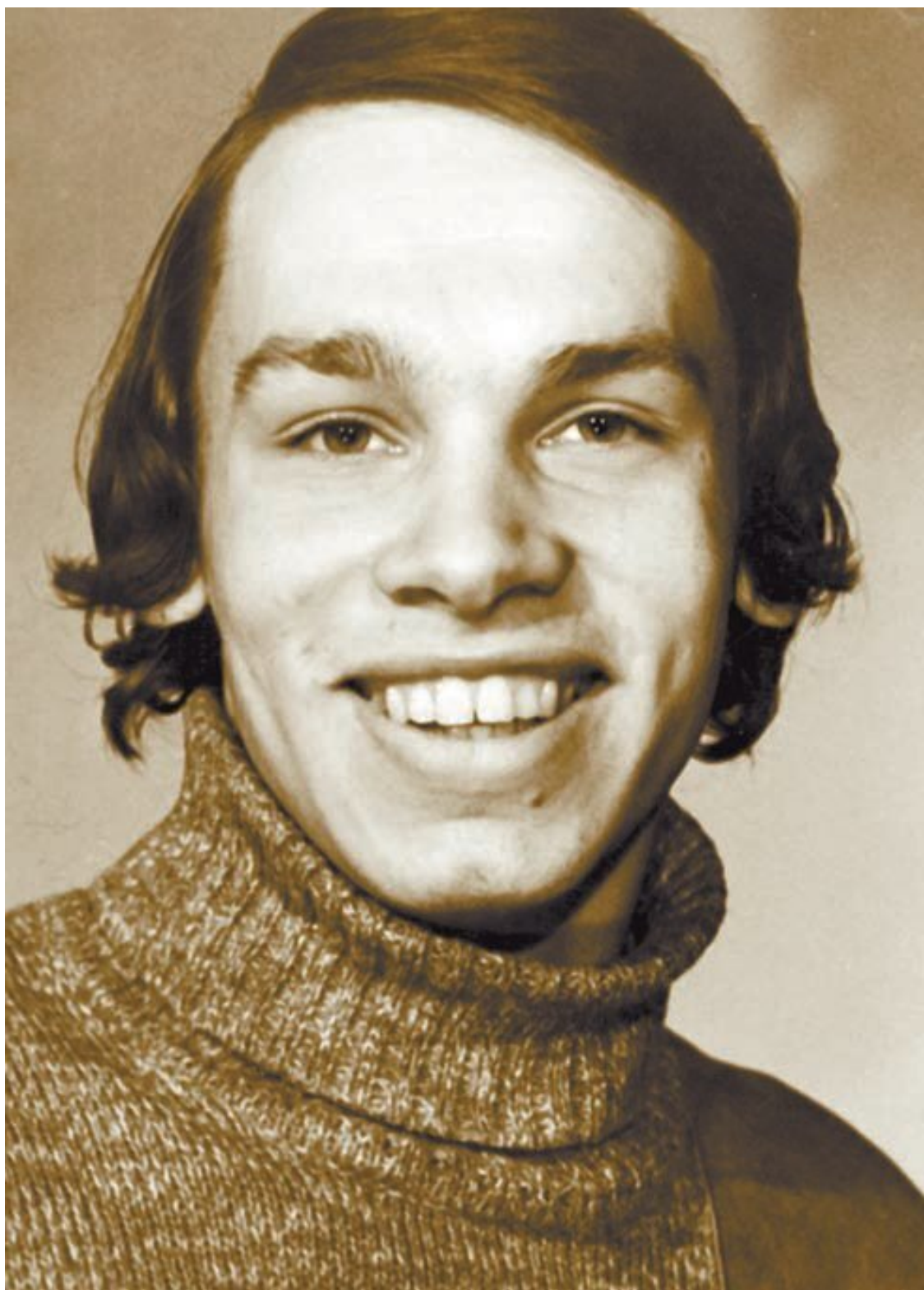
## Как из мальчика сделать мужчину

Когда мы познакомились, Алексей был набалованным дитятей из семьи советских дипломатов, студентом МГИМО. А все студенты третьего курса Института международных отношений видят себя не меньше чем послами, как студенты театральных вузов воображают себя будущими народными артистами. Он ходил важно, словно уже получил посольское назначение, носил костюмы и галстук, готовил себя к дипломатической карьере и был чрезвычайно поглощен той будущей жизнью, которую для себя выстраивал.

Я ему звонила: «У меня есть контрамарка на «Юнону и Авось!» На премьере спектакля в Ленкоме все мои друзья и однокурсники готовы были хоть на колосниках висеть, лишь бы стать участниками грандиозного события, определяющего эпоху. А он отказывался: нет-нет, я сейчас не могу приехать, у меня завтра зачет. Я спрашивала себя: «Нина, неужели ты влюбилась в сухаря, в черствого двадцатилетнего пенсионера?» Эти черты меня поражали, задевали, и я понимала, что мириться с ними не смогу, не смогу жить с чиновником – только с творческой личностью.

Первый поступок, нетипичный для мидовца – сына мидовца, Алексей совершил из-за меня.

Однажды я приехала у нему в гости, он вышел из квартиры встретить меня, и тут захлопнулась дверь. Нам оставалось либо ждать, пока приедут его родители, либо действовать. А мне надо было срочно забрать у него какую-то книжку.



Таким 19-летним он подошел ко мне...



... а таким орлом он стал, когда мы поженились

Было лето, мы вышли на улицу, я увидела, что балконная дверь открыта и расстояние между балконами шестого и седьмого этажей невелико для моего молодого человека. При его росте в метр восемьдесят два сантиметра вполне можно было спуститься с верхнего балкона на веревке и спрыгнуть на свой. Я предложила показать, как это делается.

У молодости есть свои привилегии – совершать то, чего умудренное опытом взрослое сознание никогда не предложит как решение, и это будет получаться.

В одно мгновение у меня был готов план:

– Давай купим веревку и спустимся от соседей.

– Нет, я этого делать не буду, – отказался Алексей.

Это уже был вызов. Я стояла перед экзистенциальным выбором – способен мой будущий муж на поступок или нет. Я сказала, что спрыгну сама:

– Я легкая, ты меня просто поддержишь.

«Если он согласится, спущусь, открою ему дверь и после этого уйду навсегда», – решила я про себя.

В хозяйственном неподалеку от дома нашлась толстая бельевая веревка, вполне прочная для намеченной цели. Возвращались мы в напряженном молчании. Когда мы зашли в подъезд, на лице Алексея читалась буря мыслей: там ломались представления о себе, обо мне, о жизни, о том, как должно быть. Все было, кроме страха. Хуже всего, когда мужчина трус. Когда он умеет совершить поступок, даже безрассудный, вы можете быть уверены, что уж свое-то он всегда защитит – свою женщину, своего ребенка, свой дом. И пока мы поднимались на седьмой этаж, Алексей принял решение. Я почти ликовала:

– Я тебя очень сильно подстрахую, завяжу узлы, которые не развязываются! – убеждала я, понимая, как нужна ему в такой момент уверенность, что не произойдет нелепой случайности. Ведь риск сделать неловкое движение, зацепиться за выступы все же был немалый.

Страховка получилась действительно почти как у альпинистов. Алексей встал на тонкий поручень своего балкона и прыгнул, легко приземлившись. Открывал мне дверь уже совсем другой человек. До этого я знала мальчика. Теперь передо мной стоял мужчина.

## Дорога в «Щуку»

У каждого поколения есть своя чудесная пора – детство, из которого человек переходит во взрослый мир. И одно из самых чудесных мест детства – песочница. Мальчики там деловито работают совками, грузят самосвалы, а девочки по углам закапывают с подружками свои «секреты». Как правило, это бусинки, красивые фантики, цветные камешки или монетки. Все эти редкости помещают под стеклышко и закапывают в одном, только им известном месте.

Там также проходят похороны обнаруженных мертвых жуков, бабочек, божьих коровок. А если кто-нибудь найдет мертвую птичку или выпавшего из гнезда птенца, то на могилку даже ставят крестик, связанный из веточек.

Возможно, у нынешнего поколения, выросшего у телевизоров, компьютеров и прочих гаджетов, песочницы как эпицентра детских страстей, секретов, заговоров и не было. Но наше поколение вышло во взрослую жизнь именно из таких песочниц. Отсюда идет отсчет нашего земного времени, утекающего сквозь песочные часы. А потом часы переворачиваются. Начинается новый цикл, происходит резкая смена декораций, и перед каждым открывается его главная дорога.

Для меня такой дорогой стал путь в Щукинское училище.

Само здание училища стоит в переулке между двумя Арбатами – Старым и Новым. И весь этот хоженный-перехоженный район знаком мне «до прожилок».

Молодости свойственно снисхождение к столпам культуры и пыли веков. Осознание того, что ты торопишься по улице, которой пять столетий, особого пиетета не вызывает. Как и то, что любимый Вахтанговский театр находится в бывшем особняке князей Голицыных и что в доме 53 жил великий Пушкин, а в нескольких метрах от «Щуки» сочинял свою музыку Скрябин.

Есенин, Маяковский, Белый просиживали ночи напролет в кафе «Арбатский подвал». А несколькими годами позже сюда же, в деревянный особнячок, переехал Булгаков.

Для нас же важна была своя история: здесь ты впервые по-настоящему поцеловалась, а там классное мороженое – самое лучшее в городе. А в магазин «Диета» мы бегали покупать благоуханные сырки. А вот у этого дома вlepила первую в своей жизни пощечину какому-то нахалу.

И только когда в нашу студенческую жизнь на несколько ночей ворвался только что выпущенный «Мастер и Маргарита», интерес к месту нашего обитания резко возрос.

Особенно после сцены ночного полета Маргариты, когда, став ведьмой и оседлав метлу, поплыла она под ночным небом «мимо ослепительно сияющих трубок на угловом здании» родного театра.

Затем пролетела над училищем выше, к Поварской, к тому самому зданию МОССОЛИТа, которое в знаменитом романе загорится адским пламенем, а всей Москве потом станет известно как Дом литераторов.

Пролетала Маргарита и над тем местом, которое сейчас называют Новым Арбатом. Во времена моего студенчества это был Калининский проспект. А во времена Булгакова это была историческая часть города, очень похожая на Старый Арбат с его переулками, площадями, площадками.

Но в 1963 году, когда страной еще управлял Никита Хрущев, именно здесь было решено построить чудо из стекла и бетона – Калининский проспект.

Построен был этот проспект, состоящий из шести высотных зданий, архитектором Михаилом Посохиним-старшим. Инициатором всего дела был Никита Хрущев, тогдашний Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Он тогда вернулся в Москву из своей первой поездки по Америке. Принимали его там со всем американским шиком и блеском, и был он очень впечатлен.

СССР в то время безмерно уважали (ведь это было уже после запуска спутника), да и побаивались. Кстати, и сам Хрущев – позже, в свой второй визит в США – поднавел «шухера», выступая в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Тогда он явился миру, сняв свой ботинок, и начал стучать им по трибуне, протестуя против выступления представителя США. Мол, мы вам покажем кузькину мать! Мы ведь не ноздрей мух бьем и не лаптем щи хлебаем! Хрущев любил так выражаться. Переводчики на этих словах обычно замирали: во-первых, ни в одном языке не существует кузьки со своей матерью, которую можно показывать. А во-вторых, как ни переводы, хоть про лапти, хоть про мух, иностранцам все равно это будет не совсем понятно. Мой свекор в это время жил и работал со своей семьей в Париже, в ЮНЕСКО. И дипломаты из многих стран мира интересовались у наших, что же «кузькина мать» означает буквально.

Но это было позже. А тогда, в первый раз, Нью-Йорк принимал Никиту Хрущева радушно, пытаясь огорошить всеми капиталистическими преимуществами.

Президент США Дуайт Эйзенхауэр устроил званый прием в честь высокого советского гостя на самой высокой точке Манхэттена, на крыше знаменитого Empire State Building. На приеме были звезды Голливуда, известные писатели и художники. Профессионально шармируя главного лысого русского, Мэрилин Монро показывала ему с балкона американскую гордость: скребущие сверкающие небеса здания – высотки американские. У Хрущева дух захватывало, но виду он, по хитрости своей, не подавал. А когда вернулся в Москву, то тут же приказал найти в социалистической столице место под «наши небоскребы». «Догоним и перегоним Америку!» – был его клич на многие годы для СССР. Для этого понадобилось уничтожить часть старого города, очень похожую на Старый Арбат. Все разрыли, все распахали и создали прозванные в народе «Мишкины книжки» (по имени архитектора Михаила Посохина), те, которые вы видите сейчас – развернутые, как книги, высотки Нового Арбата, тогда – Калининского проспекта. Молодежь ликовала.



«Глаза, как фары, освещают дорогу на два метра вперед», – сказали обо мне в приемной комиссии

Небоскребы Калининского, сверкая новизной и стеклянной отделкой, в которой отражались немногочисленные огни столицы и редкие машины, троллейбусы Б и №2, производили ошеломляющее впечатление западного мира, особенно на тех жителей СССР, для которых сама столица была Западом. В центре проспекта открылись два «святилища», два «чуда красоты». Одно из них называлось парикмахерский салон «Чародейка», а второе – Институт красоты. Ни больше ни меньше. По-советски прямо и честно. Мол, знайте адрес и добивайтесь, чтобы сюда попасть и выйти красавицами.

Мы, студентки Щукинского училища, проходя мимо института в «Чародейку», которая находилась здесь же, в одном здании и на одной площадке, частенько шутили: «Девчонки, ну что, зайдём? Красавицами заделаемся!»

На первом этаже «Чародейки» находился мужской зал. А на втором – женский зал с самыми лучшими в Советском Союзе мастерами и кафе. Мы там прически не делали, потому что цены были высокие, не по нашим стипендиям в тридцать рублей. В основном мы сидели в кафе, где подавали яйцо под майонезом, сосиски с зеленым баночным горошком и кофе с лимоном или с молоком.

Прически там делали себе знаменитые валютные проститутки Москвы. Путанами их тогда не называли, называли «девушками», а за спиной мастера, обсуждая гонорары, полученные от них, злословили: «И за что только этой ... валюту платят? Ведь ни рожи ни кожи. Если бы не моя прическа, вообще взглянуть было бы не на что».

Мы были молоды, беспечны и не развращены. Все работающие в «Чародейке» относились к нам с большой симпатией. Танечка, разливающая кофе, могла не взять деньги за яйцо под майонезом, зная, что долг ей вернут. А Инночка, маникюрша, могла бесплатно накрасить ногти: «Да ладно, иди! Что с тебя взять? Пойдем кофе выпьем». Им даже было лестно выпить кофе с будущими знаменитостями. Именно там с глоточком кофе мы глотали чуточку светскости. И каждый сидел своей группкой. Мы с любопытством наблюдали за повадками проституток – вдруг где-то придется сыграть какую-нибудь из них. А «жрицы любви» с завистью смотрели на нас – «жриц театра». Как же хорошо быть студентами театрального института!

## Захава и курящие лани

Не знаю, для кого как, но для меня студенчество – это счастье, это другой воздух и другие краски. Это другая жизнь – вдали от взрослого диктата, контроля и даже дельных советов, нужность которых в этом возрасте сомнительна.

Это полный «фридом»! Хмелеешь от одного только осознания того, что ты свободен. Для меня студенчество было брызгами шампанского и блистательным обещанием чудес. «Блистательный мне был обещан день», – сказал поэт. Я же ощущала, что мне обещана блистательная жизнь.

Свой студенческий билет, а через несколько лет и диплом с записью «Актриса драмы и кино» я получала из рук Бориса Евгеньевича Захавы. В фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» он сыграл роль Кутузова. Те, кто видел этот фильм, могут припомнить облик Захавы. Ученик самого Вахтангова, к тому времени он был и народным артистом СССР, и лауреатом Сталинской премии, и, собственно, ректором Щукинского училища. Но для нас, студентов, он был живой легендой еще и потому, что был выпускником Пажеского корпуса.

Для меня лично Пажеский корпус – это было вообще из сказок: царь-царевич, король-королевич...

Влюбленная в поэзию, я тогда зачитывалась «поэтами» Северянина:

Это было у моря, где ажурная пена,  
Где встречается редко городской экипаж...  
Королева играла – в башне замка – Шопена,  
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.

Было все очень просто, было все очень мило:  
Королева просила перерезать гранат,  
И дала половину, и пажа истомила,  
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.

А потом отдавалась, отдавалась грозово,  
До восхода рабыней проспала госпожа...  
Это было у моря, где волна бирюзова,  
Где ажурная пена и соната пажа.



Борис Захава в «Войне и мире» недаром играл Кутузова: лучше не сыграл никто



«Курящие лани» в спектакле «Три мушкетера». Все студентки нашего курса

Вот этот самый паж и был нашим учителем.

При его небольшом росте он не выглядел мелким, и даже выглядел крупным, потому что крупным был масштаб личности. Еще в Пажеском корпусе его научили держать спину, и эта спина до самой смерти была прямой.

Еще при этом росте он как-то так умудрялся смотреть на наших долговязых студентов, что со стороны было ощущение, что он смотрел сверху, а они приседали и смотрели на него снизу.

Я его часто видела улыбающимся. И было непонятно: улыбается он мне или своим мыслям. Он был добродушным человеком. Был просто добрым. Но если уж он выходил из себя и кого-то ругал – перенести это было сложно. Впрочем, глагол «ругал» к нему не подходил. Про него можно было сказать: гневался. Да, Борис Евгеньевич гневался.

За что он мог разгневаться? Причин было достаточно. Вот, например, увидев курящими нас, девушек, он останавливался и молча всех разглядывал. Проходила минута, вторая. Раскуренные сигареты мы прятали за спины, кое-кто пытался голыми руками их гасить. А Борис Евгеньевич стоял, и лицо его менялось. Оно бледнело, багровело. И нам всем казалось, что приближается *страшное*. Что он сейчас закричит, изгонит нас из училища, из нашего рая, ударит невесть откуда появившимся посохом... Должно быть, так изгоняют злых духов. Может, так были изгнаны из рая Ева с Адамом?

Но тут происходила перемена. И совсем не та, к которой мы уже приготовились. Его голос внезапно становился еле-еле слышным. И вот таким тихим голосом, что хотелось читать по губам, глядя и на меня, и сквозь меня на других, он однажды спросил:

- Вы когда-нибудь видели, как курит лань?
- Кто-кто, Борис Евгеньевич? – заискивающе переспрашивали мы.
- Вы можете представить ее с сигаретой?

Мы, конечно, могли себе представить все. Мы же были студентками театрального! Но мы дружно ответили:

- Нет, Борис Евгеньевич, нет!

А он опять еле слышно, так что приходилось поднапрячься, чтобы услышать:

– Вот так же дико и противоестественно молодым девушкам курить, тем более – студийкам. – Он не говорил «студентки», он на старый манер говорил «студийки». – К тому же можете себе представить, как вы разочаруете своих молодых людей, когда они будут целовать губы, пахнущие сигаретой... Похожее чувство они испытают, когда оближут грязную пепельницу.

Так он запускал нам в подсознание метафору, от которой очень трудно было отвязаться. Многие из нас бросали курить, потому что чувствовали себя какими-то извращенками, занимающимися чем-то противоестественным или преступным. Это уже потом, закаленные, уже видевшие себя народными артистками, нервно куря сигарету за сигаретой, мы обсуждали «зерно» роли. Но образ «курящей лани» еще очень долго витал над нами, первокурсницами.

## Храм и храмовники

Тогдашняя жизнь в училище отличалась не только от нынешней жизни там же. Она вообще была особенной. И особенность эта заключалась в неписанных правилах, законах Вахтанговской школы.

Тогда в училище присутствовала некоторая... нельзя сказать, церемонность, но какие-то вещи просто нельзя было делать. И я понимала, откуда это шло. Наши педагоги прививали нам особые правила, особый поведенческий кодекс. То, что потом будут называть духом училища.

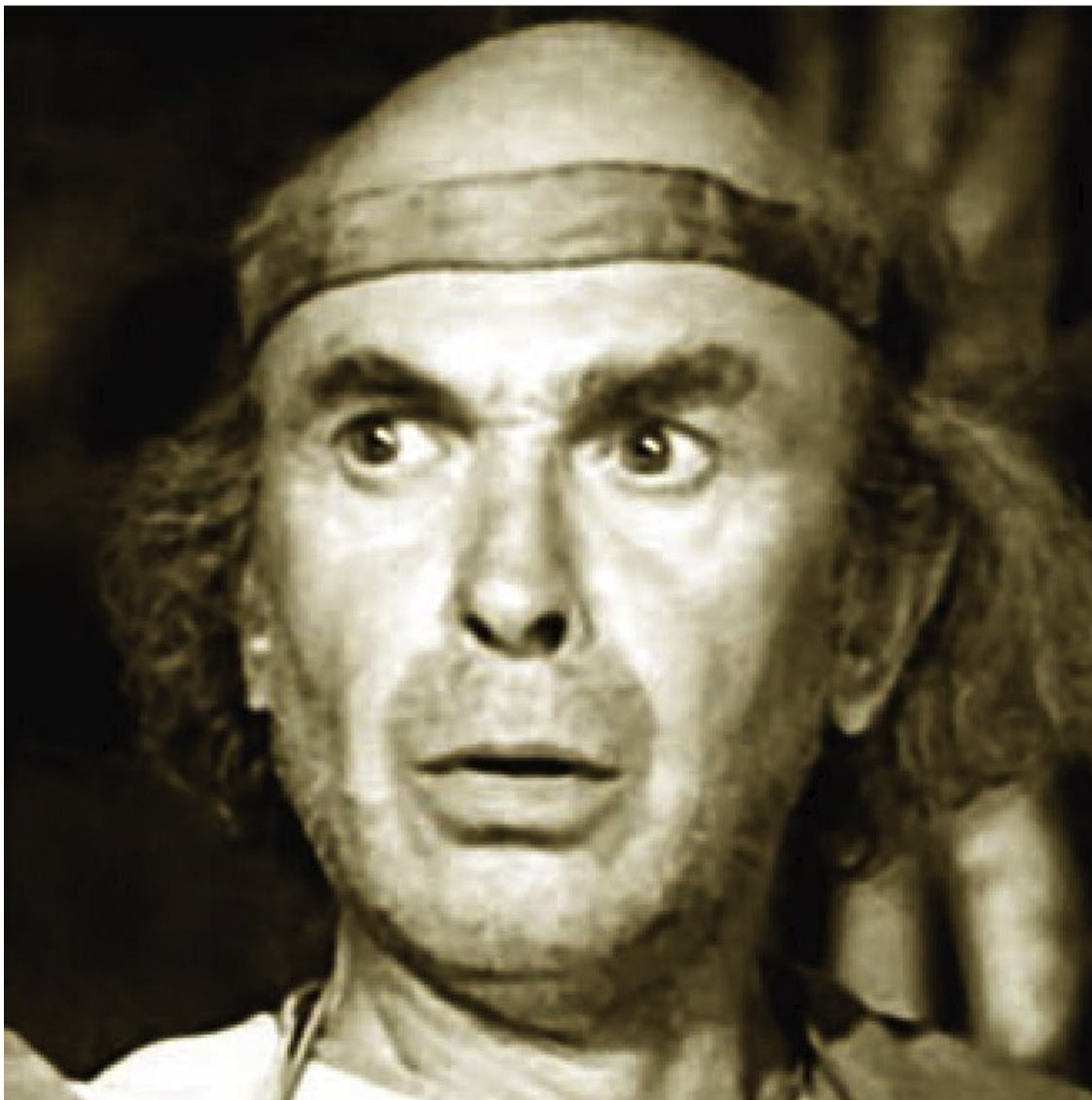
Нельзя было, например, прийти или прибежать в училище и, скажем, не поздороваться, – так мог сделать только дикий человек, а никак не вахтанговец.

То есть, входя в училище, ты должен был сказать «здравствуйте» всем! Контуженому и заикающемуся, похожему на всклокоченного лешего дяде Феде, который сидел на вахте. Толстой гардеробщице тете Лене (она для всех была баба Лена). У нее мы стреляли деньги иногда – рубль или даже три рубля, у нее мы бросали куртки вповалку, и она их развешивала за нами. Она нас «чехвостила», она нас строила, а мы ее по-свойски любили. Короче, мы должны были поздороваться с каждым, кто оказывался в наших стенах.

Наша alma mater была храмом, а мы были храмовниками. Потому что Вахтангов (мы это знали от учителей) любил повторять: «Театр – это храм искусства». И он приходил туда, в театр и в студию к студийцам, всегда торжественно. Его явление – это был не просто приход, это было именно Явление в театр. А ведь в стране тогда, после Гражданской войны и революции, были голод и холод, топить было нечем, мыло и хлеб по карточкам, на улицах – хаос.



В роли Нины Тухачевской



Наш педагог Ю.В. Катин-Ярцев был известен всей стране по фильму «Приключения Буратино»

Но Евгений Багратионович не допускал неопрятности, бытовизма. Это то, что нам педагоги, те, настоящие вахтанговцы, прививали: неопрятность и небрежность недопустимы. Мелочей не было. Даже в том, как ты одевался, как готовился к занятиям. Студент не должен был прибежать на репетицию за минуту или за пять минут до начала. А уж тем более опаздывать. Если это происходило, то он подвергался жутким репрессиям.

В Щукинском училище в нас буквально вдалбливали: «Нельзя непонятно где непонятно чем заниматься и прийти неподготовленным. Дескать, сейчас появлюсь: «Где у вас тут можно нагениальничать? Вот он я, гений! Где тут у вас творят?»

Неподготовленность прочитывалась педагогами мгновенно. Я никогда не забуду, как однажды на репетиции, после полутора часов работы, на замечание худрука Юрия Васильевича Катина-Ярцева кто-то из студентов пообещал:

– Юрий Васильевич, ну сейчас мы разомнемся и выдадим.

Юрий Васильевич нас всех присутствующих чуть не побил.

– Лентяи! Бездельники! Полтора часа репетиции прошло, а они еще разминаются! За полтора часа балетные по пять килограммов живой массы теряют! И три раза тренировочные костюмы сменяют! А вы топчетесь здесь! Разминаться собираетесь. Выгоню, выгоню всех! Без-

дельники! Идите, вас ждут другие вузы, где можно разминаться хоть весь день. Вас ждут заводы – поднимайте индустрию страны. В армию идите! – кричал он мальчишкам.

Мы постигали истину, получая ее, как ключ к жизни, из первых рук.

Это как иностранный язык: хочешь знать его хорошо – получать его лучше от носителей языка. Так же и здесь: если ты получаешь какое-то знание, то лучше, когда оно идет из первоисточника.

В христианстве люди, которые получили первое знание из рук Христа, стали апостолами. Потому что они получили первородность учения.

Существует первородность передачи – передачи знания, передачи закона, передачи скрижалей. Подобие скрижалей было и у наших педагогов.

Говорили, что Юлия Константиновна Борисова занималась у танцевального станка по два с половиной часа в день. И нам не надо было видеть ее, занимающуюся у станка. Мы просто видели, как она в свои сорок семь лет прыгала по сцене в «Антонии и Клеопатре». Как соблазнительна она была в этом спектакле! Как сексуальна! И когда Антоний – Михаил Александрович Ульянов, катаясь по полу, кричал: «В Египет! В Египет захотелось!», то, несмотря на то что в Советском Союзе секса не было, в этот момент весь зал Вахтанговского театра изнемогал от подспудной сексуальности этой сцены. В этой сцене между Борисовой и Ульяновым была такая страстность, было такое томление, что их флюиды передавались всем, вызывая неистовый восторг и гордость не только у нас, студентов этой великой артистической школы, но и у всех зрителей, навсегда становившихся поклонниками гениальных вахтанговцев.

Говорили, что балетные упражнения каждое утро выполняла и Вера Константиновна Львова – наш профессор актерского мастерства. Ее легкая фигурка с прямой спиной всегда выделялась в толпе вечно спящих по Старому Арбату людей. Рядом с Верочкой (так за глаза ее, семидесятипятилетнюю, называли студенты) все казались просто корявыми кочерыжками, несущими свои бранные тела туда-сюда. И конечно, никаких сомнений в том, что Верочка занимается балетным станком, ни у кого и в помине не было. Ты попробуй так спину всю жизнь держать, чтобы сзади на девушку быть похожей!

Театральная практика входила в нашу жизнь довольно рано. С третьего курса нас вводили в спектакли театра. Конечно, мы были массовой. Но мы не были массой. Каждый из нас стремился привнести на сцену какое-то свое актерское проявление, пусть мелкое, пусть пустячное, но свое. Такая приближенность к закулисию и жизни великих актеров тоже была своего рода школой для нас, желторотых. К тому же почти с самого начала обучения мы работали за кулисами собственного училища – в театральных спектаклях выпускного курса. Это называлось обслуживанием спектакля.

Девушки что-то зашивали, приносили, уносили. Парни подтаскивали реквизит, меняли мебель при смене мизансцен. Мы были всем и всеми – костюмерами, помощниками, рабочими сцены. Находясь за кулисами во время спектакля, мы постигали внутреннюю жизнь театра, учились решать проблемы, без которых немислима ни одна жизнь, а уж тем более жизнь на сцене.

Большое количество спектаклей многие из нас знали наизусть. Самые амбициозные сидели в зале с тайной задачей: в любую минуту быть готовыми к внезапному вводу в спектакль – знать текст, мизансцены и т.д.

Театр для нас был школой и домом. Гениальные актеры, находящиеся рядом, воспринимались как нечто естественное. Для нас было нормой присутствие на репетициях с гениальным Николаем Олимпиевичем Гриценко. Мы были как дети в семье гениальных родителей. Они ведь не осознают родительскую исключительность, не испытывают священного трепета от повседневной жизни с ними. А осознание, что ты живешь в эксклюзиве, как правило, приходит тогда, когда такая жизнь завершается.

Николай Олимпиевич иногда начинал заглядывать в текст, а Евгений Рубенович Симон – главный режиссер театра – нарочито строгим голосом выговаривал ему: «Ну как же так? Ну вот, вы опять смотрите в текст!» – «Я? В текст? Где текст? Где вы видите текст? Это не текст, это просто бумажка». И он начинал виртуозно, как фокусник, жонглировать этим листочком текста – дескать, и не текст это был, это просто листочек, это просто цветочек (он его нюхал), это просто туалетный кусочек, это просто салфетка для лба. Он, как фокусник, превращал страницу с текстом в отдельный спектакль, над которым хохотали до упаду все: и режиссер, и актеры, и студенты. Это был этюд гения.

Никакое телевидение этого не снимет, не передаст, но если твои глаза хотя бы раз видели подобное, то эта школа гениальности, эти проявления человеческого таланта никогда ничем не вытеснятся из памяти.

Главный принцип Вахтанговской школы заключается в том, чтобы помочь студенту раскрыться, раскрепоститься. И занимаются этим самые разные люди. Со студентом работают почти все педагоги училища. У всех разные характеры, манеры общаться, различные творческие приемы. Они все ищут подход к тебе, развивают те или иные творческие способности, зачастую глубоко спрятанные. Это глубоко интимный процесс. И когда с тобой работают все педагоги, то с кем-то из них ты вдруг раскрываешься и открываешь себя. Кто-то из мастеров обязательно найдет, обнаружит волшебный ключик, который открывает твой талант. Вот это и есть основной принцип – пройти через всех, пройти через разные личности. И эти разные личности оставляли свой след. Они оставляли след не только в наших душах, они формировали нас, наши вкусы, привычки, привязанности.

Я всегда знала, что хочу именно туда, только в Щукинское. В то время ходили легенды о Юрии Васильевиче Катине-Ярцеве. Он был художественным руководителем курса. Юрий Васильевич немного снимался в кино. Но я уверена, что многие помнят его по фильму «Приключения Буратино», где он играет Джузеппе. Все, кто видел эту картину, запомнили маленького, с огромными голубыми глазами, добрейшего и мудрейшего кудесника. Мне он всегда напоминал ребенка и, как ребенок, он сам любил играть в игры. Он легко взрывался, легко включался, и казалось, что он сам пришел из какой-то волшебной сказки.

Юрий Васильевич был замечательным педагогом, и о нем до сих пор в училище говорят с придыханием как о легендарном учителе.

Если бы, когда я поступала, выдавали премии и титулы, то Юрий Васильевич получил бы и «Эмми», и ТЭФИ, и всех «Оскар», и все мыслимые и немыслимые награды.

В тот год он выпустил просто звездный курс, который гремел на всю Москву. Именно на курсе Катина-Ярцева учились Наталья Гундарева, Наталья Варлей, Юрий Богатырев, Владимир Тихонов, сын Вячеслава Васильевича Тихонова и Нонны Викторовны Мордюковой, за которого вышла замуж Наташа Варлей. На этом курсе учился и Константин Райкин. А затем Юрий Васильевич сделал новый набор. На его новом курсе оказалась и я.

«Куда ты лезешь? – говорили мне все, кто знал о моем замысле. – Щукинское – это же династический вуз! Туда принимают только детей актеров, режиссеров. Ну ясно же!»

Но к тому моменту я твердо знала, что я не буду поступать ни во МХАТ, ни в Щепкинское, ни во ВГИК. Я никуда не собиралась пробоваться. Я знала, что хочу учиться в этом «династическом» вузе у человека, который творит из зажатых Буратин живых мальчиков и девочек, творит таланты. Он был замечательным папой, который плодил вокруг себя талантливых детей. И вот тайно ото всех, забрав документы из медицинского института, я подала их в Щукинское. И была уверена, что поступлю именно к Катину-Ярцеву на курс. О своем намерении я никому не сказала, кроме своей няни, которую любила, как родного человека. «Не волнуй никого, я забрала документы из мединститута и буду поступать в театральный. Я туда поступлю, и тогда всем объявим». Она так спокойно-спокойно отвечает: «Поступить-то

поступишь, а что с матерью будет?» Но меня тогда, конечно, волновало, что со мной будет. Ведь такое испытание...

Конкурс в Шукинское тогда был триста человек на место. И перед вступительными турами – а их было три – надо было пройти еще и отборочный конкурс, когда смотрят всех, не принимая документы. После того как я отчитала на отборочном конкурсе, мне сразу сказали сдавать документы на третий тур. Оказывается, Юрий Васильевич тогда абитуриентов смотрел сам. Он уезжал как раз на съемки «Приключений Буратино», и чтобы никто из понравившихся ему не потерялся, он их сразу отправлял на третий тур, на который намеревался вернуться через десять дней.

От того, что меня выбрали сразу, минуя первый и второй туры, я особенно счастлива не была. Ведь другие абитуриенты закалялись в боях, смотрели на конкурентов, «откатывали» свою программу. А тут сразу раз – и сдавайте документы! А дальше-то что? Ходишь, маешься, на других смотришь, истории всякие страшные выслушиваешь про зверские выходки приемной комиссии. Я же тогда не знала, что Юрий Васильевич на третий тур пропустил только тех, кого он уже – пусть и гипотетически – хотел видеть на своем курсе. Чтобы где-то по случайности они не отсеялись, не потерялись в творческих битвах.

Быть актерами было тогда страшно заманчиво и почетно. Тогда не было конкурсов красоты, никто не шел в модели. Да и понятия такого не было – модель. Тогда эта профессия называлась «манекенщица», то есть вешалка для одежды. Профессия, по общему мнению, непрестижная, для глупых. Поэтому все шли в актрисы – там и слава, и почет, и конкурсы из-за этого в театральных были сумасшедшими.

После творческого конкурса надо было сдавать общеобразовательные экзамены: историю, русский язык и литературу, сочинение, потом был конкурс аттестатов. Жестокие экзамены, жесткий отбор. На курс предполагалось взять всего двадцать шесть человек! Как трудно было нашим педагогам выбрать из пятидесяти шести имеющих право быть студентами только двадцать шесть!

Именно поэтому после всех экзаменов решено было проводить коллоквиум. Слова мы этого не знали, что оно означает, тоже понять не могли. Понимали только одно: это что-то такое важное, где и решится судьба каждого.

На собеседовании присутствовала вся творческая комиссия института. Эти взрослые и умные люди должны были увидеть, предвидеть, как ты поведешь себя в непредсказуемой обстановке, когда забудешь текст, может быть, забудешь все, даже собственное имя. Понять, насколько ты изобретателен и заразителен. Они внимательно вглядывались в нас, задавая самые, на наш взгляд, дурацкие вопросы. Эти опытные люди смотрели, как мы реагируем, как живем, потому что тогда мы играть еще не умели. Мы проживали перед ними свои ответы, свои знания или незнания.



Модель 1975 года: эта фотография висела в окнах знаменитой «Чародейки»

Спрашивали о чем угодно, обо всем. И надо было «включиться», чтобы ответить, а они отслеживали, как мы включаемся: светло от нас или не светло.

Вот, например, один из вопросов, к которому было невозможно подготовиться. Мне задали политический вопрос! Я была тогда далека от политической среды и уж конечно не могла предположить, что хорошо узнаю ее изнутри. Как прихотлива судьба! Так вот, когда я вошла, у меня спросили:

– Голда Меир – это кто?

Я не знала. Я и не могла знать, что это премьер-министр Израиля. Я вообще не знала, что это женщина. Мне показалось это одним, слитным словом «голдамэр». Но для того, чтобы потянуть время и хоть что-то сообразить, я с вызовом ответила:

– Как это кто? – и повторила для пушей убедительности: – Как это кто? Голда Меир – это борец!

Я случайно попала в десятку. Хохотать они начали уже сразу после того, как я стала переспрашивать «Как это кто?». А слово «борец» в то время было так естественно, так бесполо – вся жизнь была тогда заполнена борцами. Борцами за светлое будущее трудящихся, борцами за свободу Африки. Анджела Дэвис тогда была борцом за права чернокожих в США... Поэтому мой «борец» им страшно понравился. Так я избежала сразу всего: уточнения по полу, по личности, по занятости.

– В общем, да. Правильно, борец. Можно и так сказать, – было мне поощрительным ответом.

Мы пытались подслушивать обсуждение, которое проходило в главном зале училища, где заседала комиссия. Атмосфера там была очень напряженная, наэлектризованная. Все это происходило очень драматично, поскольку решались судьбы людей. И решали эти судьбы тоже творческие люди, со своими пристрастиями, симпатиями, вкусами. Кто-то отстаивал наиболее понравившихся ему, другой громко с ним спорил. Мы ловили обрывки слов и угадывали, о ком говорят.

К тому же у нас уже почти у каждого появились свои болельщики среди студентов четвертого курса, выпускников, которые оказывали помощь приемной комиссии. Я помню, как ко мне выскочила одна девочка, которая уже начала сниматься в кино, в фильме «Свадьба в Малиновке», – Валя Лысенко. Она была моим талисманом.

– Ты знаешь, скорее всего, тебя возьмут. Про тебя сказали, что у тебя глаза, как фары. Высвечивают дорогу на полметра вперед.

Сказать, что мне понравился этот комплимент, – нет. Лучше бы сказали, что я талантливая, что глаза там – как звезды, как озера, что я буду играть Клеопатру вместо Юлии Константиновны Борисовой. А тут – фары и «дорогу на полметра вперед». Нет, не понравился мне этот комплимент. Но было что-то обнадеживающее и ободряющее в этой информации.

Списки были вывешены ближе к ночи. Когда я увидела свою фамилию среди поступивших, ни радоваться, ни ликовать я не могла, потому что рядом со мной в ту же секунду раздались рыдания девушки, которая за этот месяц стала моей подругой. И мы мечтали о том, как будем вместе учиться. Ее в списке не было. Нас взяли даже не двадцать шесть, а двадцать восемь человек, на два больше. В надежде, что в процессе обучения кто-то отсеется, что мы сами минимизируемся и оптимизируемся.

Поступившие разбились на группы и понимали, что расходиться не хочется. Это была мистическая ночь. В такую ночь не спят, да мы и не собирались. Мы вышли на скупо освещенный Калининский проспект, и, хотя были трезвы, было ощущение, что шампанского мы все-таки выпили.

Кучка молодых, счастливых и гордых, ставших студентами театрального института, шагала к метро. Хотелось кричать, петь, запускать фейерверки, разбудить уже спящий молчаливый город. Стас Жданько, приехавший из сибирского села и поступивший вместе с нами, внезапно запрыгнув на капот машины, легко пробежался по крыше новеньких «Жигулей»,

припаркованных в переулке как раз напротив пивного бара с одноименным названием. Сработала сигнализация.

И тут безмолвный город ожил и огласился благим матом: из закрытого бара выскочил, видимо, владелец «Жигулей» с пустой бутылкой, которую он собирался метнуть, выбирая – в кого. Но догнать нас было трудно. Победила молодость и нечеловеческий прилив сил, который мы испытали после поступления. Впереди была целая беспроблемная жизнь.

Вспоминая ночь моего поступления, я до сих пор ощущаю запах сирени и лип, которым был пропитан ночной город. И в памяти сохранился легкий прыжок рано погибшего талантливейшего Стаса Жданько.

Тогда этот деревенский парень, который мог быть простым увальнем, продемонстрировал нам грациозность движения молодого дикого животного.

В нашем расписании, кстати, движение, точнее – сцендвижение, было одной из ведущих дисциплин, равно как и танцы.

Педагогом по танцам у нас был древний дедушка по фамилии Ицхоки. У него был замечательный орлиный профиль, и он был легкий, как перышко. Все движения у него получались так, как будто он был подвешен в воздухе. Любимыми учениками у него были Стас Жданько и Юра Васильев.

Нам же, которые не с лету все схватывали, он вдалбливал простую истину:

– Если ноги или тело ошиблись, танцуй лицом! – И вскидывал свой орлиный нос так высоко, что казался памятником танцу.

И вот такого древнего дедушку мы, девчонки, обожали! Мы даже не понимали, сколько ему лет, такой он был старый! Но нам он казался самой жизнью – легкой и бесплотной.

У меня был еще один объект обожания – Владимир Георгиевич Шлезингер. В то время, когда вся страна, все женщины Советского Союза были влюблены в красавцев-вахтанговцев – Василия Семеновича Ланового, Юрия Васильевича Яковлева, Михаила Александровича Ульянова, – мне, наоборот, нравились недооцененные. Мое сердце открывалось недооцененным, но не менее гениальным.

Владимир Георгиевич Шлезингер, который мало был известен в кино и не очень много играл в театре, был завкафедрой актерского мастерства Щукинского училища.

Когда он работал с нами на этюдах или на спектаклях, его чувство юмора и артистизм приводили нас в неистовство. Мы хохотали так, что болели скулы от смеха, начинались колики в животе.

«Владимир Георгиевич, да вы же... Вы же гений! – думала я. – Надо бы ему – какой-то подарок!.. А что и как ему можно подарить? Может быть, на праздник, а то подумает, что подлизываюсь».

И вот в один из вечеров, когда я бежала к метро вниз по Вахтанговскому переулку, передо мной возникло знакомое пальто.

Дело в том, что наши студенты до мелочей знали верхнюю одежду преподавателей. Она висела в первых рядах в открытой гардеробной, справа от входной двери. И мы, опаздывая на занятия, первым делом оглядывали гардеробную – пришел или нет тот или иной преподаватель.

Так вот, передо мной двигалось пальто Шлезингера, но фигура была не его. Я чуть-чуть прибавила темп и, поравнявшись, повернула голову.

Господи, да это же Шлеза – так мы его звали между собой. Только расстроенный, озабоченный и непривычно сторбленный. Поэтому-то я его и не сразу узнала. И я решила – это было спонтанное решение – поднять ему настроение.

– Владимир Георгиевич! – окликнула я.

– Да. Что тебе? – Он не понял, откуда я взялась и почему его остановила. – Что ты хочешь сказать?

А я в этот момент стою и – как с Голдой Меир – не знаю, что хочу сказать, почему окликнула. Больше всего мне хотелось его спросить: «Почему вы такой печальный?» Но вдруг он сочтет это вторжением в личную жизнь, фамильярностью? Мы же никогда не беседовали после занятий.

Но все же желание как-то поднять ему настроение было очень сильным. А как? Рассказать анекдот я не могла, они у меня все вылетели из головы, да и глупо. Что-то смешное из студенческой жизни? Тоже глупо. И тогда я ему выдала коронное:



В Ленинград мы ездили на спектакли и на пробы по студенческому билету – за полцены



«Ленфильм». Пробы у режиссера Ильи Авербаха

– Владимир Георгиевич, – начала я проникновенно, – а вот вам студентки театрального института часто объясняются в любви?

Я это сказала потому, что понимала: надо же как-то мотивировать свой поступок. Рассмешить его не могу. Попросить объяснить что-нибудь из того, что было на репетиции? Тоже не весело. «Лучше скажу-ка я ему, что я его люблю», – мгновенно решила я.

И еще раз, с большим чувством, повторила вопрос:

– Владимир Георгиевич, а вам студентки Театрального института имени Щукина часто объясняются в любви? – И посмотрела на него одним из светлейших своих взглядов.

– Ты что имеешь в виду? – переспросил он, пока еще не понимая и не вникая.

И я, чтобы доказать ему всю серьезность признания, что имею в виду как раз то самое, самое важное и самое серьезное... ведь в этот момент я его любила до бесконечности, я ему сказала:

– Владимир Георгиевич, если бы вы... если бы вы знали, как я вас люблю!

На что он мне резонно заметил:

– Но ты и должна меня любить. Ты моя студентка. Меня все студенты любят. Вон меня как Вологдин любит, да и Ярмольник, я не сомневаюсь, что он меня тоже любит!

И он, смешно закатив глаза и приложив руку к сердцу, уже начал было что-то показывать, как его любят студенты. Например, студент Ярмольник.

– Нет, – почти закричала я.

Я отказывалась принимать несерьезность оценки моего признания. И от того, что я настаивала на серьезности, а он не верил мне, от того, что я боялась, что это будет выглядеть наигранно, и он, мой педагог, завкафедрой актерского мастерства, уличит меня в фальши, – от всего этого страха у меня на глаза навернулись слезы.

– Владимир Георгиевич, – с горьким упреком сказала я. – Я вас совсем не так, не так, как Ярмольник! Как вы можете сравнивать?! – Обида прорывалась с каждым словом.

И слезы! Слезы величиной с фалангу пальца, крупности невероятной, покатались по моим щекам.

В носу защипало не только от слез. Предательски подмокшая тушь «Ленинград» за двенадцать копеек уже «подъедала» глаза. Я знала наперед, что за несколько секунд у меня распухнут губы, нос, все будет страшным и некрасивым. И от боязни, что он увидит меня уродливой, я уткнулась ему в грудь и стала сильно к себе прижимать.

Ворсинки его пальто попали мне в нос, стало трудно дышать, а шерстяные борта становились все влажнее и влажнее, как от ливня.

– Ты что, плачешь? А ну-ка покажи мне свое лицо. – Он попытался взглянуть мне в глаза.

Но не тут-то было. Я вцепилась руками в его воротник со всей молодой силой. А он говорит:

– Ты что, правда плачешь? Ты посмотри: вцепилась и правда плачет, – ответил сам себе. – Ну, покажи лицо, покажи лицо. – И он сильно и осторожно отстранил меня от себя и поглядел.

Я была действительно по-настоящему зареванная и в этот момент любила его до бесконечности. И оплакивала абсолютно все. А что все – мне было непонятно и ясно одновременно. И я ему сказала:

– Вы самый гениальный человек! И не Гриценко должен играть, и не Юрий Васильевич Яковлев должен играть, и не Михаил Александрович Ульянов. А вы! Вы талантливее их всех! Я вас люблю так, как вас никто не любил, и уж тем более Ярмольник. Но вы мне не верите, – драматично закончила я. – Пустите меня.

А он в этот момент... Теперь он меня очень крепко держал. И я видела, как он изменился. Я видела, как он стал похож на свои фотографии, которые висели в театре и на которых был совсем другой Шлеза: Шлеза, только что пришедший в театр, – с волнистыми волосами, блестящими крупными глазами, без очков, с изящным носом, молодой и полный сил, – а не пожилой педагог, уставший, может быть, даже от наших глупостей и дурачеств. А может быть, от чего-то другого. Может, что-то портило ему жизнь, какие-то болезни или проблемы отравляли ему существование... Но на мгновение его постаревшее лицо исчезло, а молодое возникло перед моими глазами.

И вдруг... мы с ним поцеловались. Мы с ним поцеловались в Вахтанговском переулке, между театром и училищем. И он неожиданно сказал:

– Нина... Спасибо тебе, Нина.

Почему он так сказал, я тогда не поняла. А сейчас думаю, что он просто пытался так от меня отстраниться.

– Как вы можете говорить спасибо за «люблю»? – пристыдила я его. И он ответил:

– Ты знаешь, если нас сейчас кто-нибудь увидит, то решит, что мы любовники: ведь все ходят вокруг нас. А спасибо я тебе сказал за то, что ты меня... Ты талантливая, молодец, – теперь он давал мне оценку как педагог. – Посмотри, в какой мир переживаний ты увлекла меня всего лишь за десять минут. Вот за это тебе и спасибо.

Внутри себя я не любила тех, кто был обласкан славой и любовью большинства. Я почему-то всегда не любила тех, кому передано. А любила тех, кому недодано.

Гении лепили наши души. Поэтому, конечно, они все были для нас кумирами. Но так, чтобы гоняться, просить автографы, фотографироваться, это было не принято.

Уже потом, когда я видела у некоторых ребят фотографии, которые сейчас, конечно, составляют бесценный архив, то подумала, как расточительна молодость. Мы не ощущали хрупкости и быстротечности бытия. Мы не ощущали того, что учителя уйдут. Почему-то жизнь тогда казалась вечной.

И казалось, что в Вахтанговском училище вечно будет играть Рихтер. Я помню, сунула ему смешную программку концерта, которая была отпечатана для нас, для своих, чтобы мы запомнили навсегда его произведения, и он на ней расписался. Но я считала неприличным лезть к нему с просьбой сфотографироваться. Ну как же это?

Вечными казались даже те, кто давно ушел. Но их дух витал в этих переулках. И педагоги, их живые рассказы как бы реинкарнировали ушедших, не давали далеко отлететь их душам.

Точно так же не сдавалась историческая душа города. Она удерживала связь времен не только через легенды и фортепианные концерты, вырывающиеся из открытых арбатских окон, но и через запахи.

В старых московских двориках, которые писал еще Полenov, около резиденции американского посла и 12-й французской спецшколы, которую окончил мой муж, пахло черемухой, липами, сиренью. В городе было много медоносов. И Садовое кольцо было действительно когда-то садовым.

## Царь на миг

Первый президент независимой Грузии умер в новогоднюю ночь. Умер внезапно. Он был совсем не стар – ему было чуть больше пятидесяти, и многие тогда поговаривали, что ему помогли умереть.

Его прах трижды был перезахоронен. В феврале 1994 года с пышными почестями его хоронили в чеченской столице – в Грозном. И лишь тринадцать лет спустя прах его вернулся в Грузию.

Там, на земле предков, гроб с его останками, укрытый старинным грузинским флагом алого цвета с белой и темной полосами посередине, был предан земле на священной для грузин горе Мтацминда.

С этим человеком судьба единожды свела меня за много-много лет до этого. До этих поистине драматических событий.

Дело происходило в ресторане ВТО. Это был легендарный ресторан: здесь Высоцкий впервые встретил Марину Влади и сразу же признался в любви; здесь трагический Олег Даль демонстрировал всем вшитую в вену ампулу – чтобы не пить, а многие тянули ему свои рюмки: «Олежек, брось, выпей с нами». Здесь умер Лаврентий Масоха, и его тут же уложили на стол, накрыв скатертью, в ожидании скорой, а за соседним столом выпивали за упокой его души. Здесь много чего было...

Молодой человек, пригласивший меня на ужин, отлучился для разговора с людьми, которые, подойдя к нашему столу, попросили его на минуту выйти. До этого мы с ним довольно эмоционально обсуждали его дипломную работу по пьесе Ануя «Эвридика». Он был латышом и завершал свое обучение на режиссерском факультете ГИТИСа у Марии Иосифовны Кнебель. В день католического Рождества он пригласил меня на свидание. Для меня все это было очень романтично: ведь в Советском Союзе праздновать даже православное Рождество было не принято, а тут вдруг предложение отпраздновать этот праздник «вместе с католическим миром» – как сказал Петерс: «Я убежден, что половина присутствующих в ресторане даже понятия не имеют, какой торжественный вечер сегодня».

Думаю, нетрудно представить ощущения молодой девушки, первый раз оказавшейся в «гастрономической Мекке» театрального мира. «Судак Орли», «Котлеты Адмирал» казались тогда названиями театральных романов. Все вокруг представлялось шикарным, таинственным, полным сюрпризов и знаменитостей.

А ведь в Москве в то время все было жестко разграничено. Ты не мог запросто пройти в ресторан. На твоём пути тут же возникал швейцар или никто не возникал – на запертой двери висела вечная табличка «Мест нет». А ресторан ВТО, или ЦДЛ, или Дом кино – все, мечта! Для простых смертных, которых страна (!) или швейцар не знали в лицо, – мест не было! Никогда!

И вот я в ресторане ВТО впервые. Ну прямо первый бал Наташи Ростовской.

На мне новый французский батник (с ума сойти – заплатила за него семьдесят рублей, это почти две стипендии) красного цвета. Сейчас бы сказали – карминного. Но тогда все было проще: просто сыр, просто вино – белое или красное (сухое), сервелат, рыба. Продукты, цвета, обувь, одежда имели скупые описания. Страна-производитель – вот был главный критерий качества. Французские духи, крем, одежда, белье или обувь – это из области почти запредельного и поэтому высоко ценимого.

Но вернемся в ресторан. Я чувствовала себя королевой, и единственное, что мне очень хотелось продемонстрировать, – интеллект. С внешностью мы, студенты театрального, не очень-то носились. А вот ум, когда отмечали твой ум – ой, как это было приятно. Во всяком случае, у меня это было так.

Итак, сижу я в обновке, напротив меня молодой человек нордического типа, с легким иностранным акцентом, который я иногда передразнивала, а вокруг – вокруг одни знаменитости – селебритиз, как сейчас говорят. И ты ощущаешь себя по праву частью этого мира.

Недалеко от нас шумная грузинская компания тоже, видимо, что-то отмечала. Несколько мужчин о чем-то живо переговаривались, часто поглядывая в нашу сторону. Я их не знала. Но, находясь в ресторане ВТО, я про себя предположила, что, возможно, это грузинские деятели культуры. Один из них просто гипнотизировал меня своим взором – огромными черными глазами. Я привыкла, что на меня смотрят, и не обратила внимания, как от «грузинского стола» к нашему подошел мужчина и что-то на ухо сказал моему собеседнику. Они вышли вместе со словами «извините, на минутку».

Через десять минут моего одинокого сидения за столом, ко мне с огромным букетом роз (зимой!) направился высокий седоватый, элегантно одетый мужчина.

- Вы одна... – Он протянул мне цветы.
- Нет, я не одна, – возразила я, – сейчас подойдет...
- Нет, вы одна, и будете одна, пока я буду с вами.



В ресторане ВТО Высоцкий впервые встретил Марину Влади и сразу признался ей в любви

Я опешила от такой уверенной агрессивности.

– Звиад Константинович Гамсахурдия. Для вас просто Звиад, – представился неожиданный визитер.

– Вы кто? Вы откуда? – строго спросила я тоном, каким в отделе кадров спрашивают «вы из какой организации?».

– Я грузин, благороднейший из грузин.

А как раз за пару дней до этого у нас в училище, а еще раньше во ВГИКе я заслушивалась лекциями потрясающего философа Мераба Константиновича Мамардашвили. «Сократ нашего времени» – звали этого удивительнейшего человека, тоже грузина, лекциями по античной философии и философии искусства влюблявшего в себя любого, кто его хоть раз слышал.

Легко перейдя в созвучие – Константинович, грузин, я выпалила с гордостью:

– А я студентка Щукинского, и у нас недавно выступал с лекциями тоже благороднейший из грузин – Мераб Константинович Мамардашвили.

– Он!.. Он вылизывал русским ж...у до блеска. Его Грузия ненавидит.

Мне показалось, я ослышалась. В голове были еще свежи впечатляющие Мерабовские «...основная тайна бытия – это совесть, человек – сверхприродная сущность», и вдруг такая неприязнь в голосе моего собеседника, такая, я бы сказала, брезгливость. И к Мамардашвили, и к русским...

– Я – русская! И вы оскорбляете благородного человека. Если бы он был здесь сейчас, он бы, может быть, вlepил вам пощечину, – сказала я гневно.

– Слабак он против меня во всем, но не будем об этом. Но вы мне нравитесь. В вас чувствуется благородное присутствие. И я хочу понравиться вам. Возьмите цветы – это вам. Я расскажу вам о себе, я прочитаю вам о себе... Поехали, уже поздно.

– Никуда я с вами не поеду. Сейчас вернется молодой человек... – Я не понимала, куда запропастился Петерс, и у него, кстати, был номерок от моей дубленки.

– Он забыл с вами попрощаться и оставил вот это. – Звиад раскрыл ладонь и показал мой (!) номерок из гардеробной.

Я была совершенно обескуражена: оказалась одна в ресторане, рядом этот странный, но интригующий грузин, куда-то исчез Петерс со своим католическим Рождеством.

– Мне надо вернуться в училище, – загоропилась я. Но так как такой огромный букет роз, да еще зимой, я получала впервые, мне было жаль его оставлять. – Благодарю за цветы, они очень красивые, – сказала я.

– Куда же? Молодой девушке негоже гулять в одиночестве по ночному городу. Я провожу вас.

Действительно, подумала я. И ведь правда, поздно. Да и из ресторана в одиночестве выходить как-то не так... Это тебе не из училища в любое время суток выпархивать. Здесь особое восприятие.

Он царским жестом надел на меня мою дубленку и протянул, как милостыню, десять рублей швейцару. Тот прям припал почти к ногам и, угодливо распахнув перед нами дверь, первым выскочил на холод.

На скупо освещенном бульваре у входа в ресторан стояла черная «Волга». С неба на цветы красиво падал легкий свежий снег. Пахло морозом и розами. Гамсахурдия распахнул передо мной дверцу машины.

– Мне вниз по бульвару, до Сивцева Вражка, а потом...

– Ну мы, наверное, сначала меня завезем. – И он что-то по-грузински быстро приказал шоферу.

Я не стала протестовать. Только что я приняла цветы из рук этого мужчины, он заплатил за ужин (вместо моего исчезнувшего куда-то кавалера). Да, его поведение было слишком самонадеянным, но мне он не сделал ничего плохого. К тому же он сумел заинтриговать меня – я почувствовала какую-то тайну и уж явно необычность. «Если он попросит о свидании, может быть, встретиться с ним в субботу днем», – успела подумать я, как вдруг машина очень быстро остановилась.

– Поднимитесь со мной, я подарю вам мои книги, – Звиад Константинович вышел и открыл дверь с моей стороны.

– Нет, нет, в другой раз, поздно...

– Это не займет много времени. – Он уже тянул меня за правую руку на тротуар.

– Я не могу, я должна ехать...

Но фразу я не успела закончить. Я фактически была выдернута из машины.

Он быстро захлопнул дверь, и «Волга» тут же отъехала.

Перепуганная и негодующая, я стояла перед ним. На улице были мы одни. Я знала, что он не бандит, не насильник, книги пишет, и вообще – интеллигентный человек. Но что-то в его лице было пугающее – ненормальное.

– Пойдем ко мне! – отдельно, по слогам произнес он и грубо потянул меня в подъезд.

– Пустите меня, пустите! – заорала я в свою очередь «страшным» голосом. Страшным потому, что театральный, а значит, громкий – он гулко отозвался на пустой улице. Да к тому же мне действительно стало страшно. Он от неожиданности даже остановился.

– Ты что? Ты отказываешь мне? – внезапно тихо произнес он. – Ты кому отказываешь? Я – князь! Я царь! Я буду грузинским царем! Хоть на час, хоть на миг! – Он уже почти хрипел.



Звиад Гамсахурдия: «Я буду грузинским царем! Хоть на час, хоть на миг!»...



...мечта сбылась

Его красивое лицо исказилось и казалось уродливым. И в это же мгновение он так дернул мое запястье, что у меня потемнело в глазах. Выронив цветы, я схватилась за свою правую руку и принялась ее укачивать, как младенца, пытаюсь хоть как-то унять горящую боль. Лицо мое заливали слезы. Я выскочила на проезжую часть, почти под мчащуюся машину, ничего не видя и не понимая.

Водитель резко затормозил, и его развернуло в обратную сторону. Когда он вышел из машины, готовый обругать меня на чем свет стоит, я, протягивая ему дрожащую и распухающую на глазах руку, почти в глубоком обмороке жалобно попросила: «Пожалуйста! В Склиф!»

– Ой, дочка, как же это тебя? – Он уже помогал мне усесться. – И меня чуть не угробила. Хорошо, я из-за снега тихо ехал. И то вишь, развернуло. Счастье, что на встрече пусто. Бог, видно, всех нас поберег. А что там вокруг тебя навроде как цветы на снегу были, или мне чего показалось?

– Показалось. Спасибо вам. – Я почти счастливо улыбалась, несмотря на сильную боль. – Вы такой хороший.

– Да ладно тебе, хороший. Все ты так прям сразу и видишь. Знаешь, какое ночью может быть? Я такого навидался. – Он старался меня отвлечь. Может, боялся, что сознание потеряю.

Когда мы остановились у приемного отделения Склифосовского, мой спаситель побежал внутрь, и я слышала, как он кому-то уже говорил: «Скорее, скорее, белая как смерть».

Из больницы я вышла утром. После обезболивающего со снотворным еще побаливала голова и слегка подташнивало. А моя правая рука была в гипсе. И вся прошедшая ночь казалась мне ирреальной, случившейся не со мной: ресторан, Петерс, Гамсахурдия, дядечка-водитель, врачи, рентген, заливка гипсом...



Гамсахурдию хоронили трижды, последний раз – на земле его предков

Я поехала в училище. В магазине «Диета» на Арбате я купила две калорийные булки за десять копеек и граненый стакан кофе с молоком. Мне предстояло проглотить все это, непривычно работая левой рукой. Донести кофе до стоящего на ножке высокого столика мне помогла сердобольная уборщица, которая заметила свежий гипс на руке – белый, как снег за окном.

– Упала? – участливо поинтересовалась она по дороге.

– Да, – соврала я. И сразу же приняла эту версию ответа для всех других интересующихся.

– Повезло тебе еще. А вот я на днях кровь мыла. Одна толстуха голову у нас разбила.

Ну да ешь на здоровье.

Первая лекция у нас была по русской литературе. Писать я не могла и не пыталась – упала неудачно, что уж тут... После лекции я подошла к нашему преподавателю – Гальперину Владимиру Абрамовичу:

– Владимир Абрамович, а вы не знаете грузинского писателя Звиада Гамсахурдию?

– Нет, Ниночка, его я не читал. Но у него отец хороший писатель. А сын, по-моему, диссидент больше, чем писатель.

Что такое диссидент, я тогда не знала. Спрашивать тоже не стала. Но то, что среди них встречаются сумасшедшие, я, глядя на руку, не сомневалась.

## «Ночь над Чили»

В 1976 году все образованные люди очень хорошо знали, что происходило на другом конце планеты в маленькой стране, своим названием точно повторяющей название самого острого перца – Чили.

Сантьяго, Альенде, Пиночет, переворот – все эти слова мы слышали по многу раз. По телевизору мы видели горящий президентский дворец в городе Сантьяго. Мы видели, как президент Альенде – седовласый, интеллигентный и совсем не военного вида человек – с оружием в руках защищался от нападавших. Потом мы узнали, что он погиб. Из газет мы узнавали, что на огромный стадион сгоняли безоружных людей и что там происходили расстрелы.

Но для нас это все равно была далекая история, далекая страна. Хотя чилийская музыка – дудочка, свирельки, гитары – широко расходилась по Москве, завораживая русские сердца незамысловатыми, но очень трогательными мелодиями. Она звучала во многих домах на кассетах. Чилийские студенты, которых в Москве было довольно много, в большинстве своем были музыкально одарены. Они часто выступали в клубах, институтах, на разных вечерах творчества. И слышались в их песнях незнакомые ветры, и виделись могучие орлы над длиннющими горами с красивыми названиями Анды и Кордильеры. Майн Рид, одним словом: всадник, сутками скачущий в ущельях, веревочные мосты, натянутые между пиками гор, *el condor pasa*<sup>2</sup>.

И вдруг все подробности такой далекой жизни оказались совсем рядом.

В последний год моего обучения в училище на киностудии «Мосфильм» готовился к запуску советско-чилийский фильм под рабочим названием «Ночь над Андами». Позже название было изменено. В прокате фильм назывался «Ночь над Чили». Видимо, чиновники от Госкино посчитали, что так сразу будет понятно, где происходит действие и о чем фильм.

Режиссером этого фильма утвердили молодого человека, выпускника ВГИКа Себастьяна Аларкона. Но поскольку бюджет фильма был достаточно большой, то руководить съемками, финансовым и творческим процессами «сверху» был назначен Роман Лазаревич Кармен.

В то время имя Кармена в киношном мире знал каждый. Это был известнейший режиссер-документалист. Молодым человеком он снимал Великую Отечественную войну. «Опаленный фронтом» – так называли его. Его многочисленные кадры с передовой, с линии огня, из мест смерти и победы показывали не только в Советском Союзе, но и по всему миру. Одним словом, он был богат, обласкан властью и пользовался огромным авторитетом и влиянием. Одно его слово подчас решало судьбы не только фильмов, проектов, но и многих людей. Вот такой это был человек.

И хотя он был режиссером-документалистом, на него было возложено кураторство над художественным фильмом. И должность его тоже называлась необычно для мира кино – художественный руководитель.

В сценарии фильма были две главные драматические роли – мужская и женская. На роль главного героя актер был утвержден быстро. Мануэлем стал черноглазый красавец Григоре Григориу. Фильм с его участием – «Табор уходит в небо», где он также исполнял главную роль, – еще шел во всех кинотеатрах страны. А на многих международных фестивалях он продолжал собирать награды и премии. Поэтому приглашение очень популярного Григориу у худсовета «Мосфильма» возражений не вызвало.

---

<sup>2</sup> Полет кондора (*исп.*).



Кинопробы на роль Памелы в фильм «Ночь над Чили»

А вот возлюбленную главного героя очень долго искали. Пробовали многих известных актрис. Светлану Тома, которая так восхитительна была в роли цыганки Рады, не утвердили,

так как не хотели полного повторения партнеров из «Табора». Наталья Варлей, которую также приглашали на пробы, показалась худсовету слишком «звездной», а здесь на роль требовалась молодая девушка с наивным взглядом.

Когда меня пригласили на пробы, то список актрис-претенденток на роль Памелы был таким длинным и звездным, что казалось, мне, начинающей и никому не известной выпускнице Щукинского училища, не на что было надеяться.

После того как я залпом прочитала сценарий, я уже ни о чем не могла думать. Я хотела только одного и мечтала только об одном – сыграть Памелу.

Пробы прошли, как в тумане. В павильоне была отснята какая-то очень короткая, незначительная сцена с Григориу. А потом в рабочей комнате с еще не завершенным ремонтом, уставленной столами, без выставленного света Себастьян попросил сыграть страх и ужас, без слов. Он так и сказал:

– Там в сценарии есть сцена после изнасилования твоей героини. Покажи, как она будет себя чувствовать после. Сыграй страх и ужас...

Вообще, кино – это штука очень трудная. Это не театр. С актерами мало кто из режиссеров долго работает и репетирует. У нас это делал только Никита Сергеевич Михалков, за что актеры, которые работали с ним, его просто боготворили.

Когда я покидала «Мосфильм», я считала, что и пробы-то у меня никакой не было. Что все это понарошку. Разве такие пробы бывают? Не в павильоне, свет не выставлен, ассистентов нет... Да нет ничего, кроме заставленного старой мебелью помещения, пыльных столов и двух чилийцев, тихо переговаривающихся друг с другом на испанском. Один из них оператор, второй – режиссер. Молодые, только что получившие дипломы ВГИКа.

Оператора звали Кристиан. Крепкий, маленького роста, он почти не пользовался штативом, а все снимал с плеча. Для меня это было внове. Да и штатив ему был не нужен – вся его коренастая фигура с развитым плечевым поясом казалась и устойчивой, и мобильной одновременно. Он был физически рожден быть оператором.

Себастьян, режиссер фильма, изо всех сил старался мне помочь: он сидел на корточках под столом и повторял мне, забившейся под другой стол, только одно: «Делай, как знаешь. Помни только, что тебе страшно и больно».

Для меня это было трудно. В целомудренном советском кино сцен изнасилования не было. Да и как отыграть психологический слом, тоже было непонятно.

Это сейчас, когда к нам хлынули американские фильмы, когда камера вторгается всюду, сцены насилия, издевательства, надругательства стали привычным явлением. Нынешнее время вытасило на экраны темную сторону жизни. А тогда в училище мы играли русскую классику и водевили. Короче, дачники, Сонечка, три мушкетера, Достоевский, Шукшин, Горький. Во всех пьесах было философское осмысление человеческого духа, характеров. В каком-то смысле наше общество было стерильно.

Мне же предстояло играть без слов. Вытащить из пупка животный страх и ужас, чудовищные переживания. Передать эмоциональное состояние молодой девушки после самого тяжелого, что может случиться в жизни: даже может свести с ума, стать ее кошмаром.

А здесь вдруг чилийцы. Фильм не про нас, не про нашу жизнь. Все непривычно. И играть надо не просто иностранную пьесу, а под взглядами живых иностранцев, снимающих кино про свою жизнь, надо почувствовать, угадать и выдать «чужую», нетипичную, «несоветскую» реакцию. Они были «несоветские», и я понимала, что они не ждут, что я по-русски начну звать на помощь, дескать: «Спасите! Помогите! Придите!» И испанский язык был для меня напоминанием о том, что рядом со мной – другая жизнь. Вполголоса обмениваясь короткими репликами, Себастьян и Кристиан оценивающе смотрели, что я делаю.

А что можно было делать среди пустых поломанных столов и стульев? Прыгнуть на них, спрыгнуть? Сесть уж точно было некуда. И тут я подумала, что сесть не просто некуда, а невоз-

можно. Больно. А лечь? Куда? На пол? Я забила под пыльный обшарпанный стол... Я закрывала руками то лицо, то уши. А Кристиан все снимал. Он уже тоже практически залез под стол, а из-под другого стола что-то пытался мне шептать Себастьян.

Наверное, со стороны, если бы кто-то вошел, наша сцена выглядела бы не трагедией, а комедией. Странные люди что-то шепчут, куда-то передвигаются, елозят, мычат, всхлипывают и плачут, потому что под конец пробы, когда Себастьян сказал «Снято!», по моему лицу беззвучно текли слезы.

И только когда я покидала «Мосфильм», ко мне пришло осознание того, что произошло, хотя дать этому название я не могла бы – ведь в тот момент я действовала как под наркозом. А осознание превратилось в невероятно сильное желание, просто жизненную потребность сыграть эту роль. Повторить сцену еще раз! Может быть, что-то переписать, что-то предложить новое, думала я. И неистовое желание, чтобы меня утвердили на эту роль, вдруг вылилось в молитву.



После фильма «Табор уходит в небо» Григоре стал абсолютной звездой советского экрана



Кадр из фильма «Ночь над Чили», где мы играли вместе

«Боженька, пусть меня утвердят на роль Памелы, – обращалась я к небесам. – Если хочешь, можешь мне после этого вообще никаких ролей не давать». Но тут мне стало страшно от такого слишком определенного обета. «Ну, я имею в виду – десять лет», – конкретизировала я жертвоприношение.

И Боженька меня услышал. Едва я успела доехать до дома, как раздался звонок, и ассистент по актерам сказала: «Нина, тебя можно поздравить. Ты утверждена, и тебе уже покупают билет. Так что готовься к поездке на съемки в Баку». И уже через несколько дней я, счастливая, летела в Баку.

В столицу Азербайджана мы прилетели поздно вечером. После Москвы тамошняя жара показалась слишком непривычной. Собрались в гостинице в номере у Себастьяна.

Гостиница была старая, с довольно высокими потолками и длинными коридорами. Все это напоминало мне караван-сарай. К тому же и на улице, и в номерах пахло какими-то восточными пряностями, травами, фруктами.

В комнате, в которой мы собрались, на блюде в виде угощения лежали сладости и цукаты. Это был мой первый опыт пребывания в другой цивилизационной культуре.

Перед участниками съемочной группы на столе были расставлены пиалки, в которых находился зеленый чай. Он был прозрачный и совсем непохожий на чай. Мы-то в училище «чифирили»: пили только черный, крепости невероятной, элитный, с тремя слонами. О существовании зеленого чая я узнала только там, в Баку, на съемках.

Еще меня поразило, что чай был в пиалах, а не в чашках. И тут я подумала, что эти пиалки, наверное, привезли чилийцы. И сладости там лежали не просто на тарелках, а в овальных блюдах из грубой глины.

Но потом, как водится в съемочных группах, стали подтягиваться мужчины с бутылками вина, с фруктами, с шоколадом. Разговор пошел о фильме, о местах, где надо будет снимать. Показывали фотографии выбранной природы, говорили, что Баку чем-то похож на Сантьяго. И еще говорили о море, что хорошо бы отправиться туда купаться. «Голыми», – добавил кто-то.

У меня опыта купания голышом не было, да и купальник я не взяла, так что мысленно я решила, что эту компанию не поддержу. «Это что же, – подумала я, – сразу все увидят всю меня, а потом еще эта сцена в постели, а потом вообще – где-то там за кадром – изнасилование! Нет, я не пойду, – решила я для себя, – слишком много ню».

Говорили также о том, что через три дня приедет Кармен.

Я вступала во взрослую киношную жизнь. Это был мой первый опыт. Я чувствовала себя бесконечно счастливой и поцелованной Богом.

Три дня до приезда Кармена пролетели очень быстро. Съемки на природе проходили легко. Да и сцены в большинстве своем не были наполнены глубоким психологизмом.

Поскольку я была впервые на съемочной площадке, то общие сцены мне были интересны как зрителю: танки, движущиеся по улицам Баку, преследование военными раненого человека, военные на грузовиках – это был экшен, как сейчас говорят. Но Памела должна была привнести в этот фильм свою женскую ноту – лиричности, любви, женственности. Она почти с самого начала фильма появлялась в сцене с Мануэлем, в его квартире.

И для меня, как ни странно, во всей этой ситуации гражданской войны самой сложной оказалась именно постельная сцена. Гражданская война и у нас была, и партизаны были, и фашисты их пытали, всего этого мы насмотрелись в советском кино. И это было всем хорошо знакомо. А вот постельная сцена... Для меня, невесты, через четыре месяца свадьба, лечь в постель даже в игровом эпизоде с незнакомым мужчиной в комнате, забитой кучей людей – ассистентами, осветителями, гримерами, – все это было чудовищным испытанием, настоящим стрессом.

И неважно, что на мне была ночная рубашка. Вопрос о ней я поставила ребром еще до съемки. Мой партнер Григориу был уже полуобнажен.

Григоре–Мануэль легко сбросил с себя гримировочный халат и, оказавшись одетым только в купальные плавки, с достоинством и игровым опытом устроился на постели, слегка укрывшись лежащей на ней сверху простыней. Я сразу же вспомнила великолепную сцену любовного соития между Лойко Зобаром и цыганкой Радой, о которой все говорили в первую очередь, упоминая прекрасный фильм Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо».

Мы отыгрывали утреннее пробуждение влюбленных, наполненных счастьем и радостью людей, которые не подозревают, что за стенами их любовного мира уже началась катастрофа.

Они смеются, ласково прикасаясь друг к другу. Их жизнь полна надежд и планов. И они еще не знают, что их судьба уже через несколько минут станет драмой.

Как же мне было трудно целовать «по правде» мужчину, который, понимая мое состояние, провоцирующе успевал шептать мне в волосы: «Я не кусаюсь, коснись меня, пониже».



Рядом с горячим молдаванином Григориу лежало мое ледяное тело... (кадр из фильма).  
Позже вся сцена была вырезана

«Ну и наглый же тип», – подумала я.

Его загорелая кожа была сухой и горячей, он весь был как будто бы с пляжа и совсем не стеснялся своей наготы, совсем не стеснялся лежать с незнакомой девушкой.

А я, я смотрела на этого чужого мужчину и готова была разрыдаться от бессилия. Я не могла не только коснуться или поцеловать лежащего рядом незнакомца (а собственно, как можно было считать его знакомым – мы едва перекинулись несколькими незначительными фразами), мне даже было тяжело смотреть в его сторону.

Себастьяну пришлось остановить съемку. Ко мне подошла ассистент режиссера Людмила и тихо, чтобы не слышал Григориу, прошептала:

– Они говорят, что так могла бы лежать невольница с убийцей своего мужа. Давай соберись.

– Не забывайте, вы – влюбленные. Еще раз, мотор, – скомандовал Себастьян.

От его слов у меня заledenели конечности. Повернувшись к Григориу, я дотронулась до его щеки мертвецки холодной ладонью и слегка тряхнула головой, чтобы волосы хотя бы немного спрятали мое лицо, но они, сорвавшись с заколки, густой кулисой отделили нас обоих от камеры.

На долю секунды возникла обособленность от остального мира, от сидящей на корточках у кровати «девушки-хлопушки», жестов, которыми обменивались осветители, легкого, едва различимого шума работающей камеры.

Глядя в темные глаза Григорию, я почему-то вновь вспомнила сцену у костра, которую так блистательно он сыграл со Светланой Тома. Я вспомнила ее полуобнаженную фигуру в этой сцене, из-за которой зрители по многу раз ходили на просмотры, и тихо спросила у Григорию:

– А вы были влюблены друг в друга?

Он мгновенно понял мой вопрос и так же тихо, в тон мне, ответил:

– Она тогда любила другого... Но ради великой минуты могла так посмотреть на тебя, что казалось, что любит до смерти и сам умираешь от любви...

В это мгновение у меня внутри возникло ощущение, будто сердце мое кто-то голыми руками подергал. Я продолжала на него смотреть, и буря реальных чувств проходила через мое естество: и ревность к чужому дару, и любовь к любви, и живое, волнующее присутствие и близость чужой жизни и судьбы.

Я откинула волосы с лица, протаскивая их по плечам Григорию, и близко увидела крупные мурашки, как детские цыпки, внезапно выступившие на его коже. Он конвульсивно подался вслед за моими волосами, захватив их жгутом, и тихо зацокал, как цокают на лошадь.

Не знаю, была ли это «великая минута», но мы смотрели в этот момент друг на друга расширившимися глазами, а руки ерошили волосы, лица то приближались одно к другому, то отдалялись, и душу охватывала необъяснимая радость, что получилось, что живая, что найдено искреннее состояние.

После этой откровенной сцены мне казалось, поменялась ситуация и отношение ко мне в группе. На меня смотрели как на молодую, подающую большие надежды актрису. И когда спустя несколько дней появился Кармен, ситуация на площадке была очень непринужденной. Участники съемочной группы, постепенно «принюхиваясь» друг к другу, становились коллективом.

И вот на съемку пришел глава этого самого коллектива. Это было событием. Он отечески обнимал своих учеников: и Себастьян, и Кристиан учились на его курсе. Поздоровался с группой фактурных молдавских актеров, которые лихо косили под чилийцев. Поздоровался со всеми, потом спросил: «А где же наша Памела?»

В этот момент меня подпудривали и подкрашивали гримеры. Я от неожиданности и от того, что он вообще знает обо мне, страшно разволновалась, повернулась на его голос и радостно прокричала: «Здравствуйте, Роман Карменович!» Все расхохотались.

Надо сказать, что Роман Лазаревич был человеком с юмором. Он легко пошутил:

– Ну раз ты меня перекрестила, то и подарок готовь. Думаю, кастаньеты подойдут.

Все опять весело рассмеялись, и вечером съемочная группа была приглашена в ресторан.

«Караван-сарай, караван-сарай», – вертелась в моей голове популярная в те времена песенка.

Ужин прошел замечательно. Да и вся обстановка к этому располагала. Экзотически убранный на национальный манер ресторан, почет и внимание, которые оказывались со всех сторон – начиная от официантов и кончая местными уважаемыми людьми, подходившими поприветствовать Кармена и выказать ему свое почтение.

Короче, я, веселая, с цветами и большой корзиной фруктов, которую мечтала увезти в Москву, возвращалась в гостиницу.

Войдя в номер, я перебрала фрукты, чтобы они получше сохранились. Мне нравилось, что вся комната сразу же наполнилась благоуханными ароматами.

В этот момент раздался телефонный звонок, и я услышала голос Романа Лазаревича.



Чилийский режиссер решил, что Баку более всего напоминает Сантьяго-де-Чили

– Памела, не спишь еще? Заходи ко мне порепетировать. У тебя же завтра сложная сцена. «Вот это везение!» – подумала я и чуть не выговорила это вслух.

– А вы не спите? – по-дурацки обеспокоилась я в ответ. – Вас точно это не распросонит?

– Заходи, заходи! – Трубка была положена.

Я схватила сценарий под мышку, натянула модную замшевую юбку, которую купила себе по случаю окончания училища, запрыгнула в свои босоножки на платформе и побежала по коридору.

Какой же у него номер? Ведь я не спросила номер его комнаты. Мне пришлось бежать вниз к портю. Пожилая азербайджанка, когда я спросила, в каком номере живет Роман Лазаревич Кармен, в ответ на мой вопрос сказала:

– А зачем тебе так поздно идти к нему в номер?

«Вот дура канцелярская, – подумала я. – Не понимает творческой жизни!»

– Репетировать! – сказала я ей с нажимом и почти раздраженно. И как доказательство выложила сценарий на ее конторку.

– Я не могу тебе сказать. Может быть, он спит и его нельзя беспокоить. Все-таки пожилой человек.

– Во-первых, не говорите мне «ты». Я актриса. А во-вторых, позвоните ему, он только что мне сам звонил. И спросите, назначил ли он репетицию, если вы мне так не верите.

Под таким натиском убедительных аргументов и, скорее всего, под напором моего молодого темперамента, консьержка сдалась и сказала:

– Звонить я ему не буду. Если он заснул, это будет ваша вина. Вот его номер. Он живет в люксе.

Я гордо проследовала по коридору в люкс.

Постучала. Роман Лазаревич открыл сразу. Он был в белом гостиничном халате. Я впервые увидела белый банный халат. В гостиницах я тогда не жила, а у себя дома видела только медицинские белые халаты.

Кармен показался мне героем из какого-то голливудского фильма: седоватый джентльмен в белом халате. Я даже не нашла это неприличным.

Он очень подходил к убранству. В этом люксе была маленькая гостиная с банкеткой, креслом и круглым столиком с огромной серебристой вазой, наполненной фруктами. Рядом с вазой стояли азербайджанская бутылка коньяка со звездочками и две коньячные рюмки. А чуть в отдалении виднелась разобранная кровать. Но на кровать я не обратила никакого внимания. Я подвинула в сторону вазу и рюмки, а бутылку, не придумав ничего лучше, вообще поставила на пол под столик, а на освободившееся пространство положила сценарий. Роман Лазаревич улыбался. Его, видимо, забавляла моя «хозяйственность».

– Роман Лазаревич, первое, что я вам хочу сказать, – простодушно начала я, – что вы уникальный человек. Я вам страшно признательна, что вы будете работать со мной, с молодой, никому не известной актрисой. Вы будете со мной репетировать!!!

– Ты, конечно, будешь очень известной. Фильм-то звездный, сама понимаешь. Тебя будут приглашать из фильма в фильм. Давай за это и выпьем! – И он вернул бутылку коньяка на стол.

– Поздно пить. Ведь мы же в ресторане пили, – пыталась мягко отказаться я.

– Так ты отказываешься выпить за рождение новой звезды?

– Мне бы очень хотелось начать репетицию, разобрать сцену и проговорить ее, – пробормотала я и легонько, символически пригубила рюмку.

– О, да ты жульничаешь. – От Кармена не ускользнуло мое нежелание пить. – Ну тогда скушай сладенького. – И он взял из вазы крупную клубничину и, придвинувшись ко мне, поднес ягоду к моим губам. При этом его голые ноги почти коснулись моих.

Секунду я находилась в замешательстве. Как же так? Ведь он был таким же, как и наши любимые учителя, с которыми меньше месяца назад мы прощались, завершая обучение в училище.

– Открой ротик... – Кармен пытался «накормить» меня клубникой.

Я резко встала. Поднялся и он. И в тот же момент, не давая мне опомниться, он поднял меня на руки и в несколько шагов оказался у постели.

– Что вы делаете? – Я оттолкнула его, и он пошатнулся. – Вы для меня человек-легенда! Времен Пунических войн и разрушения Карфагена, – добавила я ни к селу ни к городу, просто для красоты. Но последняя фраза убила его.

– Ну ладно, зайчик, – торопливо сказал он. – Заболтался я тут с тобой.

Я понимала, что он сильно обижен. И обидела его я. Мне казалось, что еще можно все исправить, только надо сказать что-то важное. И я сказала:

– Вы обиделись? – Что-либо более неподходящее трудно было придумать.

– Я тебе сказал – уходи! Ты зачем пришла на ночь глядя?! – Он почти кричал.

Теперь обиделась я.

– Это вы пригласили меня – репетировать. – В моем голосе он услышал упрек, и это взбеленило его.

– Ты что, маленькая? Ты что, не знаешь, зачем идешь ночью в номер к одинокому мужчине? Это каждая школьница понимает. Что ты тут недотрогу разыгрываешь?



Киностудия «Мосфильм». Советская «фабрика грез» и мясорубка актерских судеб

Его просто трясло. Но трясло и меня. Хлопнув дверью что было силы, я выскочила в коридор.

«Кретинка, идиотка, – пронеслось лихорадочно в моей голове. – Ну а он – похотливый старик! Ему о вечном думать надо, а он лезет. Ну а я-то, я-то!.. – репетировать... Это же надо быть такой тупицей. Ну кто бы мог подумать, кто бы мог знать?»

Я неслась по лестнице вниз, обуреваемая всеми этими мыслями.

И вдруг, подняв глаза, я увидела перед собой за конторкой ту же дежурную, которая назвала мне номер Кармена. Она смотрела на меня, и осуждение легко прочитывалось на ее лице. «Она знала», – вынесла я сама себе приговор. И когда я почти повернула в коридор, я услышала еле различимое: «Проститутка». Моментально обернувшись, я увидела, как эта седая женщина, уткнувшись в деревянные счеты на металлических прутах, что-то безмолвно на них высчитывала.

Охваченная непонятно откуда нахлынувшим стыдом, негодованием, обидой, тревогой и непониманием, как выходить из этой ситуации, я провела бессонную ночь.

Утром, наскоро позавтракав, вышла в холл. Рафик со съемочной группой уже уехал. Я подошла к стене, на которой висело расписание съемок. Моей фамилии среди актеров, занятых в дневной смене, не было. Я испытала облегчение: не надо смотреть в лицо Кармену, можно выпасться и прийти в себя. Да и на море сходить не грех – московская бледность явно не украшение.

На следующий день – у меня опять выходной. К тому же я узнала, что Роман Лазаревич улетел. Сказать, что я испытала облегчение, – ничего не сказать. У меня гора слетела с плеч! Разрешилась моральная тягота: не надо объясняться, можно забыть, глядишь, и он отойдет и, может быть, забудет. Ведь он все-таки великий, а значит – великодушный человек. Ну навалила чего-то глупая девчонка, ну и бог с ней – таковы были мои утешительные мысли. Мне хотелось верить, что все обойдется. Что время все перемелет – мука будет, как часто говорила моя няня. А мама, когда не хотела, чтобы я поступала в театральный, говорила другое: «Все актрисы – проститутки».

– Ну как ты можешь? – У меня от негодования голос менялся.

– Конечно, проститутки, – убежденно настаивала мать на своем. – То телом приторговывают, то принципами, то любовь имитируют, то страсть.

– Да про актеров сплетни распускают все кому не лень, всякие бездарные обыватели, а ты их повторяешь. Стыдись, – зывала я к материнской совести. – Вот пойду в актрисы – всей жизнью своей докажу тебе твою неправоту. Талант, только талант пробивает везде дорогу. И только талант является мерой всех вещей.

– Иди-иди, а я посмотрю, на какую стенку ты потом эту меру повесишь, – не сдавалась моя мама. – Только послушай умный совет: получи сначала профессию, опору создай, а потом иди – хоть в актрисы, хоть в директрисы.

Однако умного совета я не послушала. И вот она я, молодая актриса. И вот она первая роль, и первая проблема.

«Ну, будем надеяться, что все обойдется», – успокаивала я себя. Но мои выходные подозрительно затягивались. Я уже три дня не снималась. Мой творческий организм требовал самовыражения.

Размышляя об этом, я и столкнулась с Себастьяном, входящим в гостиницу.

– Себастьян, – обрадовалась я. – Когда моя сцена? Вы что сейчас снимаете?

Но в ответ мой режиссер смутился. И с неожиданно усиленным акцентом стал мне что-то говорить про то, что решено мои сцены перенести в Москву в павильон и что там что-то поменяется...

«Врет», – почувствовала я. И от такого внезапного открытия душа моя ушла в пятки. Но твердым голосом я произнесла:

– Значит, что? Выходит, я здесь больше не занята? Значит, я могу уехать?

Больше всего на свете мне хотелось услышать, что я не права. Чтобы он возразил: «Куда это – уехать? Как это – уехать? Надо работать. Сколько тебе можно болтаться без дела?» Но вместо этого он сказал:

– Да. Ты свободна и можешь возвращаться в Москву.

– И когда? Раз так, я могу хоть сегодня. – От обиды мне хотелось уехать в ту же минуту.

– Можно и сегодня, если есть самолет. Я скажу Марону (*это был директор картины*), чтобы он послал за билетом.

– А материал? – упавшим голосом спросила я. – Когда мы будем просматривать отснятый материал?

– Все в Москве. Мы вернемся через неделю, – торопливо уходя, ответил мне Себастьян.

Билет был куплен на вечер. Я вернулась в дождливый город и не помню, как пережила ту тяжелую неделю мучительного ожидания. Мне ничего никому не хотелось рассказывать. Алексей был в отъезде. Видеть мне тоже никого не хотелось. Я сидела одна дома и курила сигарету за сигаретой. А воображение подсовывало одну картину страшнее другой.

Наконец, позвонив на «Мосфильм», я узнала, что группа вернулась в понедельник, то есть вчера, а на одиннадцать утра вторника (то есть на сегодня) был назначен просмотр. Но мне никто не позвонил, меня никто не проинформировал, где состоится просмотр, в каком зале. Да и о времени просмотра я узнала случайно.

Было без четверти одиннадцать. Успеть к началу просмотра практически невозможно. Но, на мое счастье, почти от подъезда я поймала такси. Водитель оказался лихой. Кое-где я даже закрывала глаза от страха. Он мчался, как опаздывающий жених на собственную свадьбу, с прибаутками, частушками, шутками. И, домчав меня в рекордные сроки, даже отказался от чаевых:

– Не надо. Может, вы народной артисткой станете. Потом в интервью вспомните Игорька, который вас на первый просмотр домчал.

Я улыбалась ему в ответ, считая это хорошим знаком судьбы.

Придя в рабочую комнату, я увидела, что там никого нет. В пепельницах еще кое-где дымились окурки. Значит, ушли только что – как Шерлок Холмс, отметила я.

Я шла по бесконечно длинным коридорам, переходила из здания в здание. «Мосфильм» – это отдельный город-лабиринт, в котором порой непросто ориентироваться даже работающим там людям.

Но меня вело наитие. Я потянула на себя какую-то дверь и увидела на экране знакомые кадры: вот танки едут по знакомой улице, вот убегает раненый человек, его преследуют военные, а вот и я сталкиваюсь с ним в подъезде и что-то говорю.

Материал был рабочий, не озвученный. Не спуская глаз с экрана, я потихоньку уселась в темноте в свободное кресло.

Вот мы с Григоре Григориу мелькнули на секунду. Жду постельной сцены, умирая от волнения. Отснятая пленка крутится дальше, а ее нет. Нет ни сцены прощания, а она была. Нет сцены ареста, да почти ничего нет, холодея, осознавала я.

И в этот момент в зале загорается свет. Боже, я, оказывается, сидела рядом с Себастьяном.

Для него мое появление было большой неожиданностью.

– Привет, – сказал он. – Как дела? – Не останавливаясь для разговора, он выходил из зала.

– Плохо, Себастьян. А где я? Я себя не увидела. Я есть в фильме?

– Знаешь, материал смотрел Сизов (*генеральный директор «Мосфильма»*). Он нам сказал: «Ваш фильм идет с посвящением: «Героическому народу Чили, не склонившему своей головы». Вот и усиливайте линию сопротивления». Так что нам приказано ее усиливать за счет лирических сцен с тобой. В смысле – ими надо пожертвовать.

– Как – пожертвовать? – не сразу поняла я.

– Ну вырезать.

Я застыла, как в столбняке. И в этот момент откуда-то сбоку ко мне подошел Роман Лазаревич.

– Ну что, пугливый зайчик! – И он как бы приветственным движением трижды похлопал меня по щеке. – Ты себе понравилась? – Он, улыбаясь, смотрел на меня, но глаза его совсем не улыбались.

И тут я все поняла. И это похлопывание... Молниеносно, так что никто ничего не мог осознать, включая меня, моя ладонь взметнулась в воздухе, и звонкий звук пощечины гулким эхом прозвучал в коридоре.

– Я вас презираю. И вы знаете, за что, – тихо прошептала я.

Я понимала, что это все. Что в ту же секунду на моей еще не начавшейся карьере уже поставлен крест. Его тяжесть навалилась на меня, и было ощущение, что меня переехали. Тело стало пустым, поменялось в объеме, отделилось и зажило другой жизнью. Оно как-то перешло дорогу, дошло до троллейбуса. А в мозгу стучало только одно: «Не может быть, не может быть, не может быть...»



Какая же я была наивная, чтобы среди ночи отправиться к режиссеру в гостиничный номер репетировать

Я не могла понять, как великий, легендарный человек мог так мелко отомстить мне – только что окончившей училище сопливой, наивной девчонке. «Да нет же!» – почти прорыдала я в голос.

Ехавшие в троллейбусе люди удивленно обернулись на меня. Через пару минут была остановка. Я вышла на улицу и долго-долго шла пешком.

Впервые в жизни я ни о чем не думала. В голове стало пусто, как в теле. Я шла, не разбирая дороги. Шла долго. Пока шла вдоль трассы, останавливались какие-то машины и какие-то люди предлагали подвезти меня. Но когда видели мое лицо, быстро отъезжали.

Я шла через парки и через школьные дворы, через микрорайоны с сидящими, как в деревнях, на лавочках бабушками. Шла вдоль реки, через мосты и железнодорожные переезды. Я шла, не узнавая город. И остановила меня темнота.

И тут я увидела, что стою перед своим подъездом на Чистопрудном бульваре. Я поднялась на свой этаж, открыла дверь, вошла в свою комнату и как была в одежде, так и рухнула на кровать. Только босоножки скинула.

Я проспала почти двое суток. Изредка просыпаясь, не открывая глаз, я пила воду и опять погружалась в сон. Это был прямо какой-то летаргический сон. Я так никогда ни до, ни после не спала.

Мое сознание вернулось в реальный мир только в четверг вечером. А просмотр был во вторник.

Я вышла в общий коридор. Я тогда снимала две смежные комнаты в коммунальной квартире. Увидев меня, соседка испугалась и всплеснула руками:

– Господи, Нина?! А мы думали, что ты уехала на съемки. Мы же все тебе стучали. Тебе тут с «Мосфильма» обзвонились. Вон, я телефон записала.

Сердце мое даже не екнуло. Только я поставила чайник, зазвонил телефон.

– Иди, тебя, наверное! Обрадуются, – улыбалась соседка.

– Я есть хочу, – ответила я.

– Ну, я же сказала – тебя. Дома, дома, сейчас подойдет! – Соседка разговаривала одновременно и со мной, и с телефонной трубкой. – Ниночка, возьми трубку. Там вон как обрадовались.

Я, еле волоча ноги, поплелась к телефону, висящему у входной двери.

– Да. Это кто?

– Нин, слушай, – произнес низкий, незнакомый женский голос. – Мы тут все в отпаде. Мы тебе обзвонились. Слушай, молодец ты. Мы так не смогли. Ты за нас за всех отомстила.

Я повесила трубку и вяло подумала: «А ведь Бог и вправду исполнил мое желание».

## Генерал Хлудов и персиянка

Бывают встречи, которые меняют все твои представления о самом себе, о том, кем тебе быть, каким быть и что в этой жизни делать. Меридиан, где такая встреча произойдет, заранее вычислить невозможно, но земной шарик в этот момент крутится навстречу твоей судьбе.

Именно такой оказалась для меня встреча с Владиславом Дворжецким.

Я убеждена в том, что если кто-то хоть раз посмотрел фильм по пьесе Михаила Булгакова «Бег», он никогда не забудет Дворжецкого в роли генерала-вешателя Хлудова. Мы тогда смотрели этот фильм бесконечное число раз. В страну победивших «красных» ворвался сметающий все представления о проигравших и погранных «белых» дворянин Хлудов. Он нес такую драму, такую трагедию своей страны, которую не было нужды объяснять большим количеством слов. Высокая худощавая фигура, глаза в пол-лица, запавшие в глубокие глазницы. Он вызывал огромное сострадание. И никого не волновало, что на экране он проливал кровь «красных», то есть «наших», что он из другого, вражеского лагеря. Мы тогда впервые публично, через Хлудова, осознали свои личные драмы, о которых наши родители шептались со своими родителями.

Появление Дворжецкого в любом фильме – будь то «Возвращение «Святого Луки», «Солярис», «Земля Санникова», да где угодно – тут же делало фильм событием. Как событием был и он сам.



Генерал Хлудов из романа Булгакова «Бег» – это Дворжецкий.  
Другого не было и не будет

Работал акушером в Омске. Потом там же в детском театре. Затем оказался в столице и трудно в Москве приживался. Без квартиры и часто без денег, хотя много снимался, с оставленными детьми и личной драмой, о которой мало кому рассказывал, он был многими очень любим. Не обладая внешностью соблазнителя, с оголенным черепом, бледнокожий и болезненно худой, он никогда не стремился к оболыщению. Но именно такого обожали женщины одной шестой части земной суши, называвшейся СССР.

Я встретила его примерно за полтора года до его внезапной смерти в возрасте тридцати девяти полных лет. А тогда ему едва исполнилось тридцать семь, но мне он казался глубоким стариком. Да что там стариком! Лысый древний бог Саваоф! Фильм, в котором я тогда снималась, назывался «Встреча на далеком меридиане». Съемки проходили в Черногловке, под Москвой. И именно там Владислав Вацлавович оказался той судьбой, которая постучалась в мою дверь.

Но обо всем по порядку.

Хотя моя «чилийская эпопея» закончилась довольно печально, на «Мосфильме» за мной закрепилось своеобразное амплуа «иностранки», девушки «с другой планеты». Когда в 1976 году студия «Беларусь-фильм» приступила к съемкам телесериала по роману Митчела Уилсона «Встреча на далеком меридиане», меня утвердили на роль американки Эвелин.

Уилсон был в советском понимании прогрессивным автором. Совершенно в духе Хельсинкских соглашений 1975 года он показывал, что американские и советские ядерщики на самом деле – коллеги, а не враги. Незамысловатый и не слишком увлекательный сюжет романа, положенный в основу сценария, строился вокруг советско-американского сотрудничества. Физик Николас Реннет приезжает в СССР. Здесь ему предстоит решить немало серьезных научных и нравственных проблем, а главное – встретить большую любовь. Впервые в советском кино образ современного американца выглядел так гуманно и положительно.

В фильме играли Василий Лановой, Жанна Болотова, а на роль Реннета был приглашен Владислав Дворжецкий. И не случайно. Вот как Уилсон описал своего героя: «Когда он отрывался от своих расчетов и откидывался на спинку стула, его худое изможденное лицо дышало такой серьезностью, было полно такой печали и боли, что казалось, будто он не умеет улыбаться. Однако стоило ему улыбнуться, как в сиянии этой чуть удивленной улыбки исчезали все следы грусти и он становился похожим на озорного мальчишку».

Конечно, мне, начинающей актрисе, было любопытно увидеть знаменитого Дворжецкого на съемочной площадке. Ведь даже одно только присутствие рядом с большим актером – это уже великолепная школа. К тому же после того, что случилось в «Ночи над Чили», я очень обрадовалась, что меня пригласили в новый фильм, пусть и на эпизодическую роль. Ехала на съемки в приподнятом настроении и, полная надежд, все время твердила про себя: «Все будет хорошо. Распоряжения меня не снимать нет». Знала бы я, как там развернутся события! Нет, ничего такого предугадать я, конечно, не могла – да и вряд ли кто смог бы.

Итак, холодным ноябрьским вечером, когда в Подмосковье только что выпал первый ранний снег, я приехала в Черногловку – городок физиков-ядерщиков.

До места я добралась поздно вечером и сразу попала в руки второго режиссера, которая, в отсутствие режиссера-постановщика, еще не прибывшего в Черногловку, заменяла его на съемках.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.